

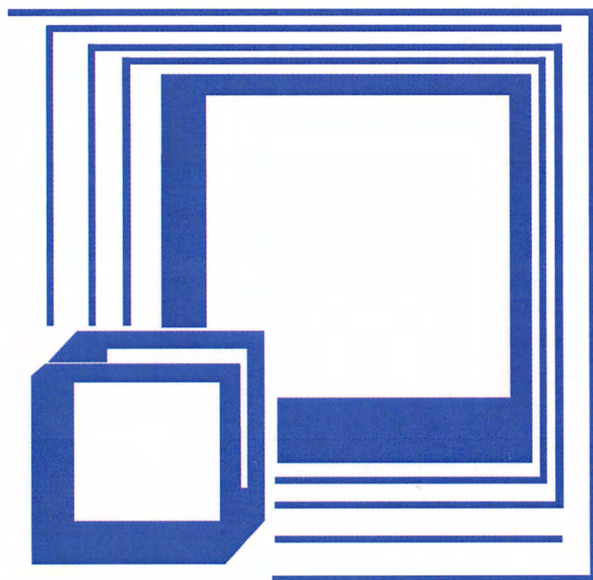
- ❖ Круглый стол рассказчиков
- ❖ Людмила Бобровская. Братья Клепинины
- ❖ Joseph Brodsky. Ein Litauisches Divertiment
- ❖ Вера Лурье. Воспоминания (заключительные главы)
- ❖ Alexej Laiko. Randbemerkungen zu der Neuübersetzung von «Moskva-Petuški» durch P. Urban

12

СТУДИЯ

*Berlin * Москва*

STUDIO



НЕЗАВИСИМЫЙ РУССКО–НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
UNABHÄNGIGE RUSSISCH–DEUTSCHE LITERATURZEITSCHRIFT

СТУДИЯ

STUDIO

12

Berlin ❖ Москва

2008

Редактор журнала
Александр ЛАЙКО

Редакционная коллегия:
Антонина КУДРЯВИЦКАЯ, Ильзе ЧЁРТНЕР,
Вадим ФАДИН, Хольгер ШВЕНКЕ, Виталий ШНАЙДЕР

Художник Маргарита РЁШ

Redakteur:
Alexander Laiko

Redaktion:
Antonina Kudrjawizki, Ilse Tschörtner,
Vadim Fadin, Holger Schwenke, Vitaly Shnyder

Design: Margarite Rösch
Layout/Umbruch: Natalia Rostovtseva

© STUDIO — ZEITSCHRIFT, BERLIN

ISBN: 3-938902-11-6

Адрес журнала «Студия / Studio»: studiozeitschrift@yahoo.de
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

СОДЕРЖАНИЕ:

	стр.
<i>ПРОЗА — PROSA</i>	
Виктория Гетманова. У ворот	5
Игорь Кораблёв. На Берлин!	9
Иван Зорин. Братья Лифарь	61
Павел Антипов. Короткие рассказы	70
Денис Передельский. Шутка	101
Гурам Маргенишвили. Писатель	105
Мила Синиярви. Русское письмо	146
Александр Карасёв. Своя позиция	149
<i>ПЕРЕВОДЫ ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ</i>	
Viktor Pelewin. Erzählungen	155
Alexej Laiko. Fahrlässige Tötung oder Absurdität als postmodernes Konzept. (Randbemerkungen zu der Neuübersetzung von «Moskva-Petuški» durch P. Urban)	192
<i>ПОЭЗИЯ — POESIE</i>	
Анастасия Строкина	57
Татьяна Кузовлева	97
Елена Максина	115
Сергей Викман	166
Николай Буторин	170
<i>ПЕРЕВОДЫ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ</i>	
Joseph Brodsky, Vadim Fadin	16, 20
<i>ПЕРЕВОДЫ ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ</i>	
Генрих Гейне, Гюнтер Кюнерт, Вольф Бирманн, Евгений Рот	46, 47, 48, 49
<i>ВЧЕРА И СЕГОДНЯ — GESTERN UND HEUTE</i>	
Михил Агурский. «Пепел Клааса». Новые главы	24
Хольгер Швенке. Участники событий 68-го... Сколько им теперь?	212
<i>ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ – DER SCHRIFTSTELLER UND DIE ZEIT</i>	
Михаил Горелик. Теодицея Генриха Бёлля	50
Евгений Беркович. Томас Манн: между двух полюсов	73
<i>НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ – KREUZWEGE DER GESCHICHTE</i>	
Людмила Бобровская. Братья Клепинины	120
Вера Лурье. Воспоминания	172
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	215

ВИКТОРИЯ ГЕТМАНОВА

У ВОРОТ

– Последний. Во-о-он, последний...он это, – приклеится ладонь, словно намертво, к обледеневшему стеклу, накрыв кольшущееся вдалеке пятно.

Точно он. Я его чувствую. Как впервые увидела. Среди оконеченных пареньков, свезенных к зиме на телегах сюда, в Западную Сибирь. Тогда гулом пронеслось – «Политических, детей политических везут!». Зашумел трудпоселок. Девчонки свеклой щеки и губы вымазали, приосанились, на шиканье старших внимания не обращают, платки с голов посрывали, и на улицу – испуганно хохотать. Бедные. Да, еще подумала: «Бедные. Разве здесь, во все это, из-за чего губы подкрасить хочется, верить можно?».

Женщинам же не до смеха – только мальчонок привезли – которая вдруг заплачет, которая кулак ко рту приложит и замрет. Надолго. Словно окаменеет. В рукавицу что-то там нашептывая. Другая увидит, подойдет тут же: «Пойдем, душа, пойдем. Не надо. Не дело». И оттащит: к сараю, за угол, в плечо, куда-нибудь. Руку от лица отнимая. И нет-нет прорвется несдерживаемое больше рукавицей: «Ой, на сыно-о-очка моего старшего похож! Вон – лохматенький. Точно сы-ы-ы-ыначка моя пропавшая!».

Расселили прибывших. Слабенькие совсем ребятки были. Мы же из раскулаченных крестьян. Нас работой и трудом не согнешь. А они – из городов. Бледные, не шумные. Нескольких и сюда, в дубильню, работать послали. Кипяток носить. Кожу отбивать. Зашли. Серьезные. А последний... а он последним. Дверь осторожно прикрыл. Бережно. Чтобы не грохнула. Да, еще подумала: «Вот, значит, чтоб не грохнула», так он уже с разворота глазами в меня и вперился. И эдак покойно стало, что в сердце дядькин голос запел – как когда дома косить траву вместе ходили:

у ворот гусли вдарили,
про меня, младу, баяли,

у меня, молодой, муж ревнив,
он на улицу не пустил,
а хотя пустил – пригрозил –
«ты гуляй, млада, недолго,
ой, недолго».

Работы много было, и себя не жалели, и месяцы шли, и некоторые из них в год успели сложиться – так мы кожу дубили. И до того жарко иной раз становилось, что ворот рубахи на себе рванешь, чтобы продышаться. А заново застегнуться – ни сил, ни времени. Вот и подошел, в шею взмокшую, с налипшими завитками темных волос уткнулся. Что оборвалась даже песня дядькина внутри. Остолбенела. Руки будто крылья раскинула. Крылья, да деревянные. Ни его от себя, ни к нему. Развела в стороны: «Что... ну, что?». А он дальше – в шею, за ухо, куда-то: «Самая ты... моя». Светленький. И такие волосы льняные, что обманываешься поначалу – думаешь, седой.

Все хотела его по головушке погладить, но неужто решиться? Одна радость – тайком любоваться на руки, на глаза, на губы – со страхом. Со страхом. Что прильнут снова жарко, пересохшие, царапая шею... или не прильнут. И плакала ночами горько. Стыдно было за щеки впалые, и за отцовскую кровь, которая не позволяла лишнего слова теплого сказать. И за брови, сросшиеся почти у переносицы, словно нарочно, чтобы еще суровее лицо, платком линиялым перетянутое сделать, стыдно было. Плакала и песню дядькину, казалось, забыла.

А потом перевели их. Землянки они себе за поселком выстроили.

И на девок мы уже не шикали. У девок же прав – больше нашего. Им конвоиры даже у ворот прогуливаться разрешают. У ворот – это же радость хоть минуточку побыть, пока ребятки проходить будут. Там же и весточку передать можно, и хлебца, и в глазонки любимые посмотреть. Нет, не изводили девок. Удалось какой-нибудь с ребятами перекинуться, пока те за оградой поселковой на лесопилку шли – такая придет, усядется на самое уютное место – у котлов, где потеплее, и начнет рассказывать, обменянное на свеклу: «Нормаль-

но там у их все. У их там еще землянку достроили. На полу не спит никто, на лавках... Третьего дня трое памёрли. Кто? – не знаю кто. Еще говорят, что половину переведут. Больно резво взрослыми кой-какие стали. Или постреляют. Кого? – не знаю кого. У солдатиков мож спрошу, мож и нет».

Сидим мы и слушаем. Вертлявые скороговоркой отговорятся, семечки тыквенные лугать принимаются. А мы слушаем. Может, просыплется с шелухой еще словечко.

И только когда снова колонна вдоль забора нашего пройдет, встрепенемся, к окнам бросимся –

– Ой, худющие какие, бабоньки. Неужто их измором!

– Чего там у некоторых на головах, а? Душа, посмотри, чего у них, шапки отняли что-ли, пошто пеленаются, а?...

– Господи, помилуй нас с детьми нашими, да не увлекутся духом времени...

Так и говорили, пока не затихло все. Да, погремело, погремело как-то ночью за воротами и тихо так вдруг стало. Больше в дубильню никто не приходил. Даже девки не хаживали. Пробежит какая за окном – пальцем постучишь – мол, айда, иди, ну, миленькая! А она вид делает, что и не услышала. Только голову наклонит и пройдет быстрее.

Ну, вопросы задавать мы отучены. Весну переждали – девичьи наскоро хороводы, пока не видит никто. И лето переждали – деток народилось много. А к осени, с тягучими рассветными туманами с болот, поглядела я однажды в окошко, – а там, за воротами, идут. Миленькие, стройно так. Как приказывали им ходить. Запричитала, помню. Забилась, а в голове – только бы углядеть его. И так много этого «только бы! только бы!» было, что и выбежать не додумалась. Проснулись на крик в бараке. Подскачили. Из молодых – любопытные. А я смеюсь, говорю: «Да нет, любимые, просто своих увидела. Вон они, ходют!». Расступились тут. Замолчали. Лишь у двери молодка ахнула, перекрестилась. Да и еще кто сквозь зубы обронил: «Пострелянные ей видятся. Помрачилась видать».

Умолкла тогда я. Поднялась с пола. Косынку поправила – перечить мы тоже отучены. С тех пор не говорю ни с кем. Целыми днями за водой туда-сюда хожу. Одна мысль – быстрее бы до ночи.

А там прислонишься к оконцу, да зашепчешь, когда ребятки на лесопильню пойдут:

– Последний. Во-о-он, последний... он это, чувствую, – приклеится ладонь, словно намертво, к обледеневшему стеклу, но потянет осевшее тело вниз руку. Обнимешь себя за плечи, уткнешься носом в подтянутые к лицу колени, и затынешь волком – «у ворот гусли вда-а-а-арили, ой, вдарили...».

ИГОРЬ КОРАБЛЁВ

НА БЕРЛИН!

*История, рассказанная комиссаром
одного из горвоенкоматов.*

Году в 1996-ом, к одному из военкоматов Санкт-Петербурга строевым бодрым шагом подошел удивительного вида человек: старик лет 80-ти, одетый в ветхую, выцветшую шинельку и гимнастёрчку рядового бойца времен Второй Мировой Войны. За спиной – вещмешок, на седой голове – пилоточка со звездой, на груди – орден Красного Знамени. Правой ноги у старика не было: вместо нее – наспех струганный деревянный протез. Ветхое обмундирование старика было аккуратно зашито, заштопано, отглажено, все пуговицы – застегнуты. Выправка, грудь колесом, блеск в глазах – все полыхало в этом удивительном старике молодецким задором и удачью.

Старик поднялся наверх, подошел к двери в коридоре, забитом полуголыми призывниками, постучался и шагнул внутрь.

– Разрешите доложить! – отдав честь, отрапортовал старик. – 201-ого гвардейского стрелкового полка 1-ого Ленинградского фронта гвардии рядовой Петр Веснушка для дальнейшего прохождения службы прибыл!

Комиссар горвоенкомата поднял голову.

– Вольно, товарищ гвардии рядовой! – подавил полковник улыбку. – Кто вам разрешил в очередной раз покинуть госпиталь?

– Ну так я здоров уже, товарищ полковник! – бодро доказывал старик, вытянувшись во фронт. – Мне бы на фронт, а? Ну, сколько можно... Здоров ведь!

– Мне придется доложить о вашем проступке вашему непосредственному командиру. А это, товарищ гвардии рядовой Петр Веснушка, – трибунал. Поэтому – кру-у-угом и шагом марш назад в госпиталь на доизлечение!

– Ну товарищ полковник... Ну товарищ полковник... Ну как же... – расстраивался старик. – Здоров ведь... Вы проверьте... Здоров... Не могу я назад... Никак не могу!

Полковник немного подумал, затем кивнул.

– Хорошо. Пройдите медкомиссию – и ко мне. Там посмот-

рим... Кру-у-угом!

– Есть! – старик тут же повеселел, отдал честь, по-военному развернулся и вышел...

– Не удивляйтесь, – начал объяснять полковник, – он с полгода уже на фронт рвется. И знаете зачем? Берлин брать! Самого Гитлера! Вы не смейтесь – геройский был малый. Воевал здесь в 42-ом на «Невском пяточке»... Там и ранение, ногу отрезали. В блокаду – на заводе. На одной ноге. А последние лет 25 – в интернате для инвалидов блаженных, за забором, под наблюдением государства: кашка жидкая с тараканами – живи, калека, не тужи за высоким забором в неведении о том, что вокруг происходит до самого крематория... Да поставили им с полгода назад телевизор, старик и заглянул – впервые за 25 лет – в это «окно в мир» – и увидел, как в Прибалтике бывшие каратели и эсэсовцы парады устраивают. Со знаменами, в черном, сытые, гордые. Или у нас – в Москве, в Питере – наши, так сказать, отечественные господа фюрерствующие: марши, свастики, ручки правые вверх, все черное, «Хайль!» – у Зимнего, у Казанского. Ну и помутилось у него окончательно в голове блаженной от увиденных телепередачек. Культю деревянную тайком выстругал и давай к нам бегать. Мы его – назад, в инвалидку, а он – опять к нам. Не могу, говорит, – Гитлер в Прибалтике до сих пор, на Украине, Ленинград, оказывается, взял, Москву, парадами по ним ходит, а я, говорит, как крыса тыловая, по госпиталям валяюсь! Воюет все – в том, в 42-ом... Для него-то война в 42-ом и закончилась – без него Берлин брали – а, значит, и не брали вовсе, раз все эти бравые канализационные парни Родину-матушку топчат – значит, и Гитлер, по его разумению, до сих пор в Рейхстаге сидит. Вот он и рвется на фронт. На Берлин. Рейхстаг брать! Родину-мать спасать.

А сам гвардии рядовой Петр Веснушка, ожидая своей очереди на медкомиссию, ходил тем временем по коридору, переполненному призывниками, разговоры слушал. И недоуменно покачивал головой.

– Как же так, братцы? Гитлер ведь!.. Фронт!.. Ополчение!.. Как же?.. – возмущался старик, слыша обычную болтовню призывников о нежелании служить в армии. Или недоверчиво усмехался над парой молодых людей, заполнявших анкеты для солдат-контрактников.

– То есть как это – в долларах? Это мериканцы, что ли, Второй фронт открыли? – подтрунивал над ними старик. – Эва! С фашистом биться – и за деньги! Вы что, хлопцы, из Улан-Уды, что ли? Ты за Гитлера премию еще никак получить хочешь? Стахановскую! А ежели тебе сам Гитлер заплатит, – за кого воевать-то пойдешь?

За спиной этого комичного полусумасшедшего старика стоял хохот...

Потом старик проходил медкомиссию. Старательно проходил. По-военному. С молодецким задором. С удалью. С надрывом (то есть – чуть было не надорвался). На все вопросы жалеющих (то есть – откачивающих) его врачей отвечал:

– Никак нет, товарищ военврач! Здоров, как бык! На передовую!

Закончив осмотр, бодрый гвардии рядовой вернулся в кабинет полковника.

– Та-а-ак... – взял полковник у старика его медицинскую карту. – Не могу я отправить вас на передовую, товарищ гвардии рядовой. Не имею права. Вот, смотрите... Сердечко у вас – не ахти, зрение, плоскостопие, – сыронизировал полковник. – Не могу. Так что, придется вам все-таки назад – в госпиталь. В дальнейшем...

– Ну товарищ полковник!.. Товарищ полковник!..

– Не могу.

– Ну товарищ полковник...

Старик чуть не плакал.

Полковник, пряча глаза, походил немного по комнате, затем выдохнул, махнул рукой и уверенно произнес:

– Хорошо. Пока, до полного вашего выздоровления, в ваши обязанности будет входить охрана нашего штаба. К охране приступаете немедленно. С госпиталем я договорюсь. На довольствие вас поставят...

– А на фронт? – повеселев, загорелся старик.

– Отставить! Кру-у-угом! Зайдете в 34 комнату – получите там оружие. С фронтом – посмотрим... позже...

– Есть! – отчеканил старик. – Есть! Слушаюсь! Так точно!

Его глаза полыхали. Грудь выгнулась колесом. Старик вышел.

Полковник набрал номер.

– Андреич? Слушай, там у нас в красном уголке макет трехлинейки пылится. Отдай гвардии рядовому нашему... И раскладушку там же какую-нибудь сообразить бы с бельем...

Положив трубку, полковник задумчиво проговорил:

– Черт его знает... Пропадет со своей беготней туда-сюда. А так – приказ: на службе – считай, на фронте. Аж помолодел старик... – полковник усмехнулся. – А я-то ведь как раз в 42-ом родился. В Ленинграде. И выжил. Так что – долг платежом красен...

И стал старик – гвардии рядовой Петр Веснушка – нести свою военную службу. Вытянувшись, как часовой, он стоял с винтовкой на плече у дверей военкомата. Глаза его блестели. Выправка – молодецкая. Ветхое, выцветшее обмундирование его – чистое, аккуратно зашитое, отглаженное. Не старик – боец. Он браво отдавал честь офицерам, провожал автобусы с призывниками. За месяц к нему привыкли. У призывников он даже стал талисманом: дотронуться втихоря до его деревянной ноги – значит, живым вернуться. И только тогда, когда автобусы, переполненные понурыми призывниками, отходили от дверей военкомата, в глазах старика появлялась грусть.

– На фронт, братцы? – спрашивал у призывников старик.

– На фронт, дед, – невесело усмехались они.

– Эх... – расстраивался старик. – На фронт... А я-то – как крыса тыловая! Не могу больше!.. Не могу!.. Сбегу!..

И однажды старик сбежал...

– Вы представляете, сбежал хитрый черт! – смеялся полковник. – В автобус с призывниками напросился, – старшой его и взял – свой же дед, пусть, думал, старик развеется. А километров через 100 от города, когда автобус остановился, чтобы молодежь по кустам облегчилась, старик – шмыг! – под шумок – и деру! Когда хватились, его и след простыл. Мы – в розыск, и через 2 дня узнаем... Прошел наш дед одноногий строго на Запад за 2 дня километров 30... По полям, по лесам...

Есть у нас в пригороде недавно открытое немецкое кладбище, на котором захоронены останки немецких солдат, погибших здесь, под Ленинградом. Не кладбище – конфетка, а на фоне наших замшелых могильников – просто песня с мраморной стеллой и цветами. Курируют и ухаживают за этим парком под открытым небом немец-

кие ветераны 2-ой Мировой. Бывшие, специально из Германии от своего ветеранского общества сюда приезжают.

И вот представьте... Раннее утро, солнышко из-за туч выходит, группа немецких ветеранов: седые, вальяжные, богатые. Чинно все так, степенно. Обсуждают что-то. И вдруг из ближайшего лесочка выходит наш гвардии рядовой с деревяшкой вместо ноги и с трехлинейкой. Консерву с ножика кушает... Он как море крестов немецких над могилами увидел! Как услышал вдруг на родимой земле немецкую речь!..

Говорили, что более мистического, более жуткого зрелища еще никто никогда не видывал!

Потому что как рванул прямо из леса наш дед одноногий с винтовкой наперевес на немецко-фашистского оккупанта! Бежит! По кочкам скачет! «За Родину! За Сталина!» – орет. Глаза горят, ножичек сверкает, звезда во лбу красная... Немцы от перепуга чуть дар немецкой речи не потеряли. Картину представляете? Несется на них – один против двадцати! – в штыковую атаку из леса, как из кошмарного сна, леший одноногий – 80-летний боец Красной Армии на деревянной ноге и с винтовкой! У немцев в головах, говорят, было то же, что и в штанах – все перемешалось. А наш-то гвардии рядовой!.. Будь у него настоящая винтовка – он бы этого фашистского агрессора!..

Честное слово, только от одного этого старика – дряхлого, безумного – я начинаю испытывать давно забытое чувство гордости!

А дальше – невероятное! Через 50 лет после окончания войны, так и не дойдя *тогда* до Берлина, наш гвардии рядовой Петр Веснушка – *сейчас* Берлин взял!

На кладбище немецком, естественно, быстро разобрались что к чему: старый больной человек. Однако, то ли солидарность есть у немецких ветеранов со всеми участниками той бойни, то ли к прошлому уважение, то ли жалость, а может, все вместе (в общем, все то, что в нас самих официально и единожды просыпается только во время государственных праздников), только, узнав, куда и зачем рвется наш дед, взяли они его с собой. В гости. В Берлин. Через свою ветеранскую организацию. Дед, правда, говорили, долго сопротивлялся вначале: думал, что в плен попал, и в Германию его в концлагерь везут. Так он всю дорогу песни пел боевые: «Славянку»,

«Катюшу»... От еды отказывался. И винтовку не отдавал.

Целый месяц нестигаемый русский старик у немцев жил. Только растерялся вначале немного: понять-то понял он, что не в плену, – а ЧТО тогда? Вот он – Берлин. Вот он – Рейхстаг – Гитлера логово. А Гитлера-то нигде и нет! Фашисты по улицам не маршируют, флаги красные со зловещими свастиками не реют, «Хайль!» – никто не кричит... Растерялся старик немного. Вот он, наш гвардии рядовой...

Полковник открыл толстый журнал на немецком языке 1996-ого года издания, в котором были опубликованы несколько фотографий. На фотографиях был гвардии рядовой 201 стрелкового полка Петр Веснушка – старик на деревянной ноге в ветхой выцветшей шинельке и гимнастерочке с орденом Красной Звезды на груди. Вытянувшись, он стоял с винтовкой в руке. Над его седой головой нависали стены Рейхстага. Было лето, ярко сияло солнце. Однако какое-то пронзительно щемящее чувство жалости и вины стал вызывать этот старый больной человек в солдатских обносках, застывший в 1996 году у роскошного величественного Рейхстага. Старик ссутулился, в его глазах впервые появилась растерянность. На других фотографиях – он в кругу своих новых друзей, немецких ветеранов – веселых, вальяжных, богатых – и тоже – растерянность.

Лишь однажды она пропала. В Трептов парке.

– Н-да-а... – с грустью выдохнул полковник, – солдат-победитель... Немцы, говорят, когда про жительство своих бывших победителей узнали, чуть было не подумали, что войну они, немцы, выиграли. Деньги, сжалившись, на счет интерната старика нашего перевели. 25 тысяч. Их, разумеется, украли – наша, значит, все-таки была победа. Деду протез новый подарили – легкий металлический, со ступней – точь-в-точь нога. Еще винтовку просили у деда на память. Но он не отдал.

Так что – героем вернулся в застенки свои родные наш гвардии рядовой. Берлин как-никак взял! Победой закончилась для гвардии рядового Петра Веснушки Вторая Мировая Война. Глаза горят, грудь колесом. На новой ноге шагает гордо.

Солдат-освободитель!

А тут вдруг опять – телевизор: в Прибалтике, смотрит дед, те же фашисты проклятые маршируют; на Невском, в Москве – наши, отечественные – ручонки правые вверх, «Хайль! Хайль! Хайль!»...

Все то же самое – хоть брал Берлин, хоть не брал...

И тогда совсем уже запутался дед. Растерялся окончательно. Берлин-то взял, мол, победу миру принес – а оккупанты фашистские никуда не делись!

Ничего уже не понимает.

Вот и сидит с тех пор дед у себя в душегубке для калек блаженных на коечке и в одну точку смотрит. Я его к нам звал – не идет. Винтовку назад отдал. Протез свой немецкий выкинул. Украли. Гимнастерочка, шинелька – незашитые, мятые...

Может, оно и правильно было задумано – чтобы жил-поживал себе человек за высоким забором в неведении о том, что вокруг происходит до гроба самого? Не ведает – и живет человек беспечно. А так – пропал человек...

Жаль старика, пропал...

– Эй, дед, гвардии рядовой Петр Веснушка! Айда на фронт, на передовую!

Не отвечает дед. Молчит.

Сказал бы я ему, какую столицу брать надо было, но присяга не позволяет. Да и не поверил бы мне дед...

JOSEPH BRODSKY

Ein Litauisches Divertissement

An Thomas Venzlova

1. Einführung

Da haben wir ein kleines Land. Bescheiden
Liegt `s an der Küste. Hat seinen eignen Schnee
Und Flughafen und Telefone. Und eigne Juden.
Die Villa des Diktators und eine Statue des Barden,
der Vaterland und Freundin einst verglich.

Das war geschmacklos, ohne Zweifel,
Doch kannte er sein Land. Denn hier besuchen
Am Wochenend zu Fuß die Städler ihre Nördler.
Auf dem Heimweg, beschwippst, geraten sie auch mal
Hinüber zu den Westlern. Das ist ein Thema für Sketche.
So ist `s mit den Entfernungen in diesem Land –
Hier könnten Zwitter leben.

Ein Tag im Frühling. Pfützen, Wolken,
Zahllose Engel auf den Dächern
Zahlloser Kathedralen. Der Mensch
Wird hier zum Opfer im Gedränge,
Dann aber auch zum Teil
Des heimischen Barocks.

2. Leiklos (eine Straße in Vilnius)

Vor hundert Jahren hätte
Man hier zur Welt kommen müssen.
Über dem Federbette

Und all den bunten Kissen
Sich zum Fenster lehnen hinaus
Und glotzen in das Grüne.
Und über dem Nachbarnhaus
Sehen die Kreuze der heiligen Katharine.
Einen Karren mit Lumpen schieben
Durch die gelben Straßen des Ghetto,
Polnische Fräuleins heimlich lieben
Und Schluckauf bekommen von der Lorgnette.
So hätte man leben können
Bis zum ersten Weltkriegsbrand.
Dann in Galizien sterben
Für Volk und Vaterland.
Sonst könnt' man in anderen Ländern
Versuchen die Romantik:
Die Peis in ein Bärtchen verändern
Und kotzen in den Atlantik.

3. Das Cafe «Neringa»

Durch die Tür des Cafes geht in Vilnius die Zeit,
Begleitet vom Scheppern der Teller und Tassen.
Und der Raum, der beschwippt ist, lächelt breit,
Schaut ihr nach, kann's einfach nicht lassen.

Ein weinroter Kreis ohne Innenlicht
Steht über den Dächern ganz still.
Und das Kinn spitzt sich zu, als ob vom Gesicht
Zurückbleibt allein das Profil.

Auf des Hechtes Geheiß hört die kleine
Serviererin. Schon sieht man sie kommen.
Sie trippelt herbei und bewegt ihre Beine,
Die von den Schultern eines Fußballers genommen.

4. Das Wappen

Der Drachentöter Georg hat seinen Speer
Verloren in den vielen Sagen, aber er
Hat immer noch sein Schwert und Ross im Spiel.
In Litauen verfolgt er überall
Mit starker Hand und scharfem Stahl
Sein, allen andren unsichtbares, Ziel.

Wen will er mit dem Ross erjagen?
Wen will er mit dem Schwert erschlagen?
Den Feind, der außerhalb des Wappens vor ihm flieht?
Den Heiden? Ketzer? Bösen Mann?
Die ganze Welt vielleicht? Ja dann...
Dann hatte Vitus guten Appetit.

5. amicum-philosophum de melancholia mania et plica polonica

(Titel eines mittelalterlichen Buches, das in der Bibliothek von Vilnius aufbewahrt wird)

Schlaflosigkeit. Teil einer Frau. Am Fenster – Kribbelkrab.
Die Scheibe klettern hoch Reptilien und fallen in die Ritze.
Der Wahn des Tages fließt vom Hirn herab
Und bilden in dem Nacken eine kalte Pfütze.
Bewegt man sich, kommt das Gefühl,
Als ob ein Jemand in die kalte Masse
Hineintaucht einen scharfen, spitzen Kiel
Und schreibt ganz langsam nur «ich hasse»
In eine Schreibvorlage, wo doch jede Linie krumm.
Teil einer Frau mit Lippenstift lässt Worte flattern,
Die sind so abgeschmackt, so zäh, so dumm,
Als ob man reinfährt mit der Hand in die verlauste Klattern.
Und du liegst da im Dunklen, bloß und nackt,
So wie ein Zeichen aus den Tierkreis – Zodiak.

6. Palangen

Nur das Meer kann schau'n in den Himmel hinein.
Ein Wanderer sitzt in den Dünen. Ein wenig
Benammen trink er seinen Wein
Wie der alte vertriebene König.

Sein Haus ist zerstört, sein Sohn im Versteck,
Seine Herden – ein Opfer dem Raube.
Und jetzt liegt vor ihm dieser einzige Fleck.
Doch über die Wellen zu wandeln
Da fehlt ihm der Glaube.

7. Dominikanai (Dominikaner)

Big von der Fahrbahn ab
In eine Gasse blind und klein.
Da siehst du ein Kostjol,
So gehe da hinein.
Bleib sitzen in der Bank,
Zu dieser Zeit noch leer.
Dann sag ganz leis'
In Gottes Ohr
«Vergib, o Herr»

Übersetzt von Melita Neumann

VADIM FADIN

* * *

Das Band des Seins formt sich spiraling aus,
und häufig ragt ein Februar heraus,
auch wenn von keinem Thron ein Zar gestürzt wird.
Und immer ziehen Winter wieder ab,
die Welt der Holzpalais sinkt mit hinab,
und gleich – es mag vielleicht auch nur ganz leicht sein,
hat irgendetwas Kopf und Herz durchzuckt.

Das Band des Seins ist in die Finsternis gespannt
(nur jemand ohne mindesten Verstand
vermeint, es ließe sich an Strom anschließen).
Das Blut durchpulst die Schläfen heiß,
wenn in die steile Windung voller Eis
der Schlitten einschwenkt. Schnell muß das Gefährt sein,
wenn schnelle Fahrt auch schnell gefährlich wird.

Die Kufen gleiten quer den Winter hin –
und was um Kopf und Herz die einen bringt,
bleibt schlicht für viele andere verborgen.
Gar arme Leben wiederholen sich.
Noch vor dem März ermatte wohl auch ich –
im Winter Unheil mag ein Zufall scheinen,
doch niemals Zufall ist die Form des Seins.

Übersetzt von Dieter Wirth

* * *

Ein Stern winkt vor uns aus der Ferne.
Die Fahrt im Tunnel engt den Blick
auf jene ein, die ihm (dem Glück?)
so wie wir selbst in diesen Tagen

in dichter Schar entgegenjagen.
Vorán, vorán zum Stern der Sterne!

Du spähest hinaus – in eine Richtung,
ja, eine, stürzt die ganze Welt!
Ein Tor, der sich dagegen stellt.
Doch da das Ziel schon – Lüft– und Lichtung,
Befreiung aus dem Fluchtgedränge.
Vom Sog des Pulks gelöst, siehst du:
auf einen Gegentunnel zu
stürzt eine andre Menschenmenge.

Übersetzt von Ilse Tschörtner

* * *

Erfundenes Leben in historischer Stadt
zwischen Seiten gepreßt – ach, das kann jeder.
Geschändet ward meins von übelster Feder;
was übrigblieb, was nicht paßt ins Format,
dafür brauch ich, bei Gott, mehr Gespür:
schon dringt es durch Fenster, schon lärmt's an der Tür –
euer Herdengebrüll, ach, wie hab ich es satt!

Ich bleibe im Haus, dem umfriedeten Feld,
mag der Hof auch aufs Meer hinaus treiben.
Man vergas, einen Anker mir zu beschreiben,
in der Zeit, als das Denken von Zäunen umstellt.
Gescheite Chronisten sind am Sammeln unf Sichten:
das Schicksal der Russen füllt ganze Geschichten.
Das Vergessene ist's, das wohl mir anheimfällt.

Übersetzt von Thomas Böhme

* * *

Erregt lauscht die müßige Dienerschaft jenem Getrommel,
das Freiheit frei Haus ohne Müh– und Gebühren verheißt.
Den Herrn endlich loszusein ist ihr natürlich willkommen,
indes für sie Freiheit bedeutet, in Eile und Fleiß
sein Habe und Gut aufzuteilen im eigenen Kreis.

Befreite, man weiß, sind voll Zuversicht, Mut und Elan.
Und wenn, was geredet wird heute, auf Wahrheit sich gründet,
wird morgen schon ihnen serviert werden auf Porzellan.
(Nicht zufällig ist es dies Bild, das die Geister entzündet.)
Und nur ihres gierigen Streites Gefährlichkeit bindet

den Dienern die Hände noch. Weiteres gilt vorerst nicht,
als sich auseinander– und wieder zusammenzuraufen,
gemäß den Verdiensten aus sogenannten neuerer Sicht
des Herrn Hab und Gut aufzuteilen zu redlichen Haufen.
Mehr braucht eine Dienerschaft nicht, um sich wiederzutaufen.

Übersetzt von Ilse Tschörtner

* * *

Mit doppelter Unruhe zahlen wir für unser Schweigen.
Bei Unwetter sich auf der Woge zu halten ist schwer;
doch wann hat Ertrinken im Meeresschlund je einen Zeugen,
und wer schon eilt forschend auf frischer Spur hinter uns her,
die Damen befragend, die wir einmal zärtlich begehrten?
Ein Hubschrauber nur, dem ein Schraubenblatt abbrach
im Steigen,
fliegt schräg wie ein Bumerang über die einstigen Gärten.
Mit doppelter Unruhe rächt sich an uns unser Schweigen.
Wir schreiben nicht über Tschetschenien, meiden zu sagen,
warum wir, Befreite, der Freiheit den Namen verweigern,
auf Frohes als Botschaft des Morgens zu hoffen nicht wagen ...

Was heute bestimmt unser Leben – Welch bitterer Hohn!
Es ist uns geschehen? Durch wen? – Unsre große Nation
gebiert sich die Unholde selbst, die den Tempel zerschlagen.

Übersetzt von Ilse Tschörtner

DAS VERGÄNGLICHE

Vergänglich ist, höre ich – was zwischen uns sich vollzieht,
die regen Dispute die Nacht über beispielsweise.
Vergänglich ist, hör ich – was zwischen den Träumen geschieht.
Doch treffe ich euch auch im Traum im gewohnten Kreise.

Vergänglich ist, seh ich, Erscheinung und Leib der Geliebten.
Die Schuld daran ist freilich dir allein zuzuschreiben.
Wir scheuen dies Thema in unserm Disput vielgeübten.
Auch ich. Ich verbanne es, um bei Verstand zu bleiben.

Übersetzt von Ilse Tschörtner

***Vadim Fadin** – 1936 in Moskau geboren, Autor der Romane «Das Weinen der Hirte» (long list des russischen Booker-Preises) und «Sieben Bettler unter einer Decke» sowie mehrerer Gedichtbände; veröffentlicht in Literaturzeitschriften Rußlands, Deutschlands, der USA, Israels und Estlands. Mitglied des PEN-Clubs, des Moskauer Schriftstellerverbands und des Verbands Deutscher Schriftsteller. Lebt in Berlin.*

МИХАИЛ АГУРСКИЙ

Продолжаем публикацию глав, не вошедших в книгу известного диссидента Михаила Агурского «Пепел Клааса» (Иерусалим, 1996), любезно предоставленных нам вдовой автора Верой Агурской. Начало в №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 «Студии/Studio».

ЗАПИСКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

А я, я должен был со стороны смотреть...

Проклятое бессилье!

Арон Кушниров

в переводе Д.Бродского и Л.Руст

Возрастающий сюрреализм моей жизни усугубился тем, что заболел Матвеевко, редактор серии экспресс-информации ВИНТИ по теме: «Автоматизация производства и вычислительная техника». Мне предложили работать вместо него. Я должен был дважды в неделю приходить в ВИНТИ для просмотра свежих иностранных журналов и отбора интересных статей для перевода и реферирования. От меня стал зависеть заработок десяти-пятнадцати человек, ибо только я определял кому должен быть направлен тот или иной материал. По моим указаниям делались фотокопии, посылавшиеся референту на дом. Полученный перевод редактировался мною и передавался на техническую обработку. Среди моих референтов были ведущие специалисты в этой области, некоторые из них работали в военной промышленности.

Напоминаю, что я создал миф, что до сих пор работаю в ИАТ и хотя, как я убедился, в ВИНТИ были посвященные люди, непосвященные в это верили.

В начале января 74 года, когда я выходил из комнаты редакции, один из референтов, бывший главный инженер крупной организации, сидевший в той же комнате, вдруг вышел вслед за мной.

– Простите, это вашу статью передавала «Немецкая волна»?

Мою, – как ни в чем не бывало, ответил я.

– И вы работаете у Трапезникова?

Да, – невинно соврал я.

– И ничего?

– А что тут такого? – притворно удивился я.

Не говоря ни слова, бывший главный инженер тепло пожал мне руку и вернулся в комнату. Более, встречая меня, он на эту тему не говорил.

В ВИНТИ я встретил одного одессита из ЭНИМС, который уже успел защитить диссертацию по методике моей диссертации. Она прошла у него на ура, но ему запретили на меня ссылаться в библиографии.

Сюрреализм нарастал. Через несколько дней после высылки Солженицына и после того, как наше обращение в его защиту было передано по радио, меня пригласил к себе главный редактор журнала. Я ждал чего угодно, но не то, что услышал. Мне поручалось составить записку для правительства с моей подписью о тенденциях автоматизации на Западе с рекомендациями для советской промышленности. Я быстро ее составил и даже рекомендовал внедрить разработанный Валей Турчиным язык для автоматического составления технологических языков программирования.

ВИНТИ как бы не замечало моей политической деятельности. А ведь выбросить меня оттуда было проще пареной репы – просто не давать работы. Я же был там вне штата. Потом выяснилось, что ВИНТИ следовало в этом инструкции ГБ – на этой работе меня не трогать. Только в ВИНТИ я получал тогда денег больше, чем многие высокооплачиваемые инженеры, и это не было единственным источником моих доходов.

СТЫЧКА С ПРОСОВЕТСКИМИ СОВЕТОЛОГАМИ

В начале 74 г Боб и Рик передали мне номер «Нью-Йорк ревю оф букс», где было опубликовано письмо некоей Этель Данн против моей статьи о книге Юрия Иванова. В этом письме утверждалось, что в СССР никакого антисемитизма нет, и что я допускаю передержку нарочно, путая антисемитизм с антисионизмом. Там же было опубликовано письмо Питера Рэддевея, в котором Данн вежливо опровергалась, причем Питер сожалел, что сам я не могу ответить на письмо Данн. Это была моя первая стычка с разветвленной корпорацией просоветских советологов, поставивших себе

целью оправдывать СССР во всем и приукрашивать его жизнь, выдавая за нормальную. Частично это объясняется непониманием советского общества, частично идеологией самих советологов. Такие люди причиняют западному обществу огромный вред, делая западную молодежь, которой они все это внушают, слепой силой в руках советской пропаганды. Они дают неверные советы политическим деятелям. Это прикрывается именем научной объективности. Я с удовольствием ответил этой даме, и моё письмо вышло в «Нью-Йорк ревью оф букс» в начале марта. Но это было лишь началом длительной борьбы.

ГИБЕЛЬ АЛЕКСЕЯ ОСТАПОВА

Где твоё Смерте, жало?

Где твоя, Аде, победа?

Огласительное слово Иоанна Златоуста.

Мне сообщили по большому секрету, что старик Данила Остапов арестован и находится в Лефортово по обвинению в финансовых преступлениях. Не то, чтобы я полностью исключал такую возможность, но я на основании всего того, что происходило с Остаповыми, понимал, что с ними расправляются, причем не только светские власти. Но надо было иметь сильные мотивы, чтобы упрясть 80-летнего человека в политическую тюрьму.

Давно, в порыве благодарности, я написал в открытке Алексею Остапову, что когда-нибудь и я отплачу ему добром. Не думал он тогда, что у меня будет для этого особый предлог.

Я пошел к Андрею Дмитриевичу и попросил его опротестовать арест Данилы, а вернее потребовать, чтобы его дело было рассмотрено открыто. Я объяснил Сахарову, кто это такой, и тот согласился подписать протест, если его подпишет Шафаревич. Шафаревич мог легко проверить причины ареста Данилы, так как у него были знакомые в церковных кругах. Его не пришлось уговаривать.

Протест появился на Западе, и Данила был освобождён.

Но вскоре наступила другая трагическая развязка. Скончался не 80-летний Данила, а сам Алексей Остапов, его сын в возрасте меньше 50 лет. Погиб в Загорской больнице в результате пустяковой

операции по поводу аппендицита, в результате операции, на которую не хотел идти.

Я не допускал мысли о том, что его гибель была организована, но кто знает... Уж слишком на них навалились.

Так пала семья Остаповых. Мemento мори! Так рассчиталась власть с людьми, философией жизни которых был компромисс с нею!

ЛОМБРОЗИО В ПОТЬМЕ

*Уж солнышко не греет Воробей-еврей,
И ветры не шумят, Канарейка-еврейка,
Одни только евреи Божья коровка – жидовка,
На веточках сидят... Термит – семит...*

Николай Олейников

Осипов стал приводить ко мне по очереди лагерных дружков, чтобы убедить их, что с евреями можно общаться. Раз привел он ко мне своего киевского друга Владислава Ильякова, сидевшего с ним в Потьме. Ильяков сел в Курске по «югославскому» делу. Его организация решила разбросать листовки с бельэтажа кинотеатра во время сеанса. Листовки-то они бросили, но тут же их всех арестовали, ибо среди них с самого начала был стукач. Потом главным занятием ГБ было собрать листовки от бдительных граждан, причём произошло много курьезов, ибо, во-первых, не все граждане вернули листовки. Другие же вернули их с преступным опозданием, прочтя их сами и дав прочесть другим, за что даже и пострадали. Следовательно на допросах называл листовки не листовками, а «этой гадостью». Попад в Потьму, Ильяков, как и другие русские, попадавшие туда, был взят буквально в штыки психической атакой воинствующих русских националистов. Каждого лагерного новичка—«демократа» они убеждали, что тот «обманут евреями», причём бывшие рассказавшиеся «демократы» тут же это подтверждали. Среди этих людей культивировался погромный антисемитизм нацистского толка. Туда же попал и сам Осипов. Оба, и Осипов, и Ильяков, виновато рассказывали, как происходила эскалация антисемитизма. Они тщательно

проверяли друг у друга родословную, черты лица, а потом дошли до такого одурения, что по ночам стали наощупь проверить у спящих форму черепа, чтобы выявить в своей среде тайных евреев. То же рассказывал и кубанский станичник Репин, который сел за то, что в начале 60-х гг. умудрился подключить к станичному радиоузлу на короткое время «Голос Америки».

ДРУЖБА С ТОГО

*Негры, индейцы, арабы с пеньем
Стали на тропы,
Сжимая приклады...*

Олжас Сулейменов

После того как Бернард Теку защитил кандидатскую, он с Верой уехал, наконец, из СССР после девятилетнего пребывания. Его направили в Триест, где располагался физический центр ЮНЕСКО для третьего мира. Там Бернард подготовил диссертацию doctorat d'Etat и защитил ее во Франции. Во время визита в Париж тоголезский министр стал звать Бернарда обратно. Пouchился, мол, пора и честь знать, надо и для отечества что-то сделать. Бернард не хотел продавать себя дешево и после переговоров получил пост декана инженерного факультета в Ломе. Но Бернард не вынес родины более года и бежал в Париж. Отвык...

Уезжая из России, Бернард оставил мой адрес друзьям, и они стали бывать у меня, вызывая всеобщее любопытство. Эта была красивая молодая пара. Жюль учился на горном факультете в Лумумбе, а Мартина кончала медучилище. Они оба собирались вернуться в Того. Жюль с возмущением рассказывал о системе шпионажа в Лумумбе за иностранными студентами. Каждая комната в общежитии была рассчитана на троих. Двое были иностранцами, а третий из СССР. Советских студентов, как правило, набирали из глухой провинции, чтобы они не имели связей в Москве. Эти ребята шпионили за своими товарищами по комнате, проверяли их письма, книги. Иногда они попадались с поличным.

Весной 74 г. Жюль и Мартина пригласили меня и Тату на вечер Тоголезского землячества в Москве, который проходил в Лу-

мумбе. Всего в Москве было более 100 студентов из Того, но на их вечер приходили африканцы и из других стран, в особенности, из Дагомеи. Вечер был организован, как и все вечера такого рода. Произносились проклятья в адрес империализма, но это было лишь на поверхности. За исключением нескольких подкупленных людей, большинство африканцев уезжали из СССР ожесточёнными за фактический расизм, который они наблюдали. Да и как им было не обижаться? Была машинистка в ЭНИМС, которая печатала мои левые работы. Повадилась она встречаться с африканцем. Её вызвали на собрание и устроили головомойку.

Никто не обратил бы ни малейшего внимания, если бы она спала с любым европейским студентом. Африканцы хорошо это знали.

ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС

*Идти примиренно, без страха,
В сердце на Бога обид не храня,
Без стыда жгучего пред солнцем,
Без горечи змеиной к ближайшим из близких.
Идти примиренно, целюя глазами всякий вид
И целюя душой всякое чувство,
Переходить спокойно из храма в храм.*

Зельда

в переводе Ф.Гурфинкель

Мои внутренние попытки окончательно определить мое духовное место между еврейством и христианством никогда не прекращались. Нашелся для этого новый повод. Леня Бородин стал просить для его нового «Московского сборника» статью о том, как я смотрю на христианство среди евреев. Я попытался заново сформулировать свои теоретические взгляды, хотя понимал, что моя внутренняя эволюция еще не закончена.

Я утверждал тогда, что если христианству и суждено выжить среди евреев, то только не на пути ассимиляции среди других народов, в том числе среди русских, а лишь в форме национальной церкви в среде самих евреев. Я не знал о существовании мессианских евреев в Израиле, и фактически формулировал их платформу.

...Сола Беллоу открыла мне трогательная девушка Л. Она всучила мне «Планету мистера Сэмлера», которую я поначалу принял за научно-фантастический роман Я сразу принял Беллоу. Он не только был мне близок, но и укреплял во мне неприятие Америки, как идеала альтернативного Израилю. Кроме того, это был очень еврейский писатель, и я узнавал у него многое из того, что мне было знакомо в России. У Л. была повышенная духовная чуткость. Она была верующей христианкой и способствовала катализации моего отношения к христианству.

(ВИЗИТ НИКСОНА)*

В Москве ожидали Никсона... Для меня это были очень тяжелые дни. Всесторонне тяжелые. 25 июня я получил повестку явиться завтра в ОВИР в одиннадцать утра. Первой мыслью было, что это разрешение.

Смущало лишь, что я должен был придти в ОВИР в воскресенье.

Опасаясь подвоха, я взял с собой Тату, попросил ждать ее в приемной и, если бы я был арестован, она должна была передать об этом корреспондентам.

Вместо сотрудников ОВИРа меня принял мой «старый друг» Леонтий Кузьмич, а вместе с ним рыжий детина, который представился Игорем Митрофановичем Сазоновым. И это имя я слышал. Про него говорили, что он не то полковник, не то генерал. Говорил он, а Кузьмич лишь стоял на стреме, так что создавалось впечатление, что главный – Сазонов, но в Израиле знающие люди объяснили, что главным был Кузьмич.

– Я большой друг Давида Семеновича Азбеля, – неожиданно начал Сазонов.

– ?

– Вы помните, что он несколько раз откладывал голодовку?

– Помню.

** Названия глав, взятых в скобки, даны редакцией, так как в рукописи автора они отсутствовали.*

– Это было по моему совету. Хороший человек, и у него настоящая семья. Знаете, что с ним случилось в Вене?

Примерно знаю, – ответил я, соображая, зачем он мне все это говорит.

– Приехал он туда, ему израильское посольство номер в роскошной гостинице устроило, красивую израильянку приставили, а он ночью из гостиницы тайком в Рим уехал. Трудно ему будет – всегда помогу.

Мне стало ясно, что Сазонов зачем-то проводит операцию дискредитации Азбеля, в явном расчете на то, что я всем об этом расскажу. Я, конечно, решил этого удовольствия ему не доставлять. Тем не менее, анализируя сейчас то, что было больше девяти лет назад, я прихожу к выводу, что операция возмездия была вызвана каким-то нарушенным обещанием Азбеля. В Израиле его ждала большая популярность и то, что он, так любивший быть в первых рядах, променял это на безвестность в Америке, говорит о том, что Давид почему-то боялся ехать в Израиль.

– Мы просим вас, – повернул разговор Сазонов, – уехать из Москвы до конца месяца и не принимать участия в семинаре.

На это время Воронелем был затеян научный семинар, где я подрядился делать доклад.

– Нам очень не хотелось бы прибегать к вашему аресту.

– А что особенного? Можете арестовывать.

– У нас есть на это свои соображения. А вы что, хотите на белом коне в Израиль въехать?

– Я не хотел бы никуда уезжать из Москвы.

– Мы пошлем вас в командировку.

– Я же внештатный сотрудник! Внештатных в командировки не посылают.

– Не беспокойтесь, мы это уладим. Если же не поедете, потеряете работу.

– В этом случае мне лишь остается подчиниться. Своей волей я не поеду. А после вашего звонка в ВИНТИТИ меня оттуда не выгонят?

– Не волнуйтесь, – сказал Сазонов, выходя из кабинета.

Минут через пять он вернулся: – Все в порядке. Послезавтра вы едете на две недели в командировку.

Не помню, в какой связи я сказал, что всегда говорю правду.

– Да, – согласился Сазонов, – вы действительно говорите правду, но не договариваете...

Что верно, то верно.

Далее посыпались комплименты. Выяснилось, что я и человек с принципами, не как другие. И зарекомендовал себя как хороший наблюдатель.

– Нам кажется, что вы к нашей организации хорошо относитесь, – добавил Сазонов.

И это была правда. Я давно убедился, что по сравнению с милицией и партийными органами, ГБ был много лучше.

– А не согласитесь ли вы сделать то, что мы вас попросим? – неожиданно встрял Кузьмич.

– Давайте прекратим говорить таким образом, – сразу потребовал я.

– Сначала одно, потом другое, – не унимался ничуть не смущенный Кузьмич.

– Я не давал вам никакого повода вести со мной подобный разговор. Если вы будете продолжать таким образом, я прекращу с вами разговаривать. Кузьмич отстал.

– Мы знаем, что все лучшие люди из евреев шли к христианству, – неожиданно сказал Сазонов.

Ага! Вот оно что! Стало быть, ГБ сознательно в течение многих лет покровительствовал еврейскому христианству! Вот почему они давали зеленую улицу о. Александру! Вот почему они не трогали меня, дав мне сделаться люкс-христианином! Вот почему Куроедов, с которым я вместе провел пасхальную заутреню 65 г. не начал против меня кампанию!

Стало быть, это было сознательной политикой, а не совокупностью случайностей. Вероятно, эксперты ГБ справедливо полагали, что еврейское христианство один из наиболее надежных способов интеграции евреев в России. Не то, чтобы оно его провоцировало, но я не знаю ни одного случая, чтобы еврей-христианин серьезно преследовался, если только он не нарушал правил игры, вроде Лёвы Регельсона, и становился нарушителем общественного спокойствия. Общая дискриминация евреев была намного более сильным фактором, чем частные ущемления еврея-христианина, а их развелось немало. Правда, ортодоксальный иудаизм, который уводил от сионизма и от требования гражданских прав тоже поощрялся, хотя

он вёл лишь к общественной, а не к национальной интеграции.

– Я не хотел бы говорить и на эту тему, – твердо сказал я, категорически отказавшись продолжать «миссионерскую» беседу с Сазоновым. Мне легко теперь представить, что собственно хотел Сазонов. Кстати, наш разговор совершенно не брал под сомнение моих сионистских убеждений. Они не пытались меня переубедить. Стало быть, фраза о «лучших людях» могла касаться моей будущей жизни в Израиле. Я вижу, какие разговоры могли вестись с недалекими людьми такого рода и в какие сети их можно было увлечь. Мне пришлось столкнуться потом с такими «лучшими людьми», причинившими ужасные несчастья.

Было мало еврейских активистов, которым ГБ в той или иной форме не пытался предложить сотрудничество, нисколько не боясь, что его отвергнут. Я не полномочен перечислять, что мне известно, но случай Марка Машпица, которому предложили возглавить группу демонстрантов с провокационными целями, был публично разглашен им самим. Хорошо известно, какие сети ГБ расставил вокруг свердловчанина Ильи Войтовецкого. То, что их предложения отвергались, их не смущало. И в этом случае они выигрывали. Люди начинали бояться друг друга. Это было частью психологической войны.

Сазонов и Кузьмич нагло похвастались тем, что отлично знают, что например, происходит у меня дома. Я пропустил это мимо ушей. В дверь постучали. Сазонов вышел. Через несколько минут он вернулся:

– Что это за интервью вы дали?

– А его уже передали?

– Да, – соврал Сазонов.

Интервью, как потом я выяснил, передали через два дня.

– А о чем вы говорили?

– Если его передали, вы же узнаете!

– Так, в двух словах.

Я пересказал содержание интервью.

– А кто вам его организовал?

– Это что, формальный допрос?

– Нет! – засмеялся Сазонов.

– Тогда на этот вопрос я не хотел бы отвечать.

Сазонов пытался узнать, где находится Алик Гольдфарб, кото-

рый ухитрился куда-то здорово спрятаться.

Сазонов дал мне свой телефон и предложил пользоваться им в случае надобности. Потом я узнал, что у некоторых отказников был его телефон, но они об этом друг другу не говорили. Когда я уходил, Сазонов напомнил, что в ВИНТИИ меня будет ждать командировка.

Татка все еще сидела в приемной ОВИРа. Мы пошли оттуда пешком к Виталию Рубину, жившему неподалеку. Его квартира несомненно находилась под оперативным подслушивающим контролем, и все, что там говорилось, особенно в эти дни, становилось сразу известно. Зная это, я рассказал в общих чертах мой разговор, намеренно и с чувством определенного сладострастия полностью опустив эпизод с Давидом Азбелем, который, по расчету Сазонова, я должен был как сенсацию передать Рубиным:

– А вы знаете, что он мне рассказал о Давиде? – и пошло бы гулять. Представляю, как Сазонов разозлился на меня, ибо это умолчание показывало всю меру моего недоверия к нему.

Не успел я вернуться в Беляево-Богородское, как заметил из окна моего девятого этажа, что к подъезду подъезжают три битком набитые «Волги». Я сразу все понял. Они были в некотором недоумении лишь относительно моего этажа. Высунувшись из окна, я помахал им рукой: – Сюда!

Те заулыбались. Я заранее открыл дверь квартиры. Из лифта вышло двое молодых ребят в штатском: один высокий и широкоплечий, а другой среднего роста, худощавый, по виду типичные инженеры. Тогда в ГБ усиленно брали именно таких.

– Заходите! – пригласил я.

– Да нет, что вы, мы постоим. Понимаете, Игорь Митрофанович с вами хочет еще раз поговорить...

– Переодеваться?

– В общем, да, – захихикали они.

(УИЛЬЯМ ГОДВИН В МОЖАЙСКОЙ ТЮРЬМЕ)

...Сазоновцы привезли меня в уголовную тюрьму. У входа выстроились по струнке перепуганные тюремщики. Им это было в диковинку. Сазоновцы сразу же укатили.

У меня отобрали все вещи и книги, заставили раздеться догола, проверили нет ли чего у меня в известном месте, а также между пальцами рук и ног кусочка бритвы, в общем сделали всё, что полагается делать с обычными уголовниками, а потом отправили в камеру. «Там уже есть один ваш», – шепнул мне по дороге тюремщик. В камере меня встретил обрадованный Гриша Розенштейн, мой сосед по Беляеву – Богородскому. С ним я познакомился в Тракае в 1969 году.

Каждый день к окошку камеры приходила библиотекарь и протягивала каталог из 600–700 книг, вписанных в простую школьную тетрадь...

Одной из книг, которую мне захотелось взять в первый же раз, была книга английского писателя Уильяма Годвина «Калеб Уильямс»...

Погрузившись в чтение «Калеба Уильямса», я не сразу заметил, что на полях книги имеются еле заметные карандашные вертикальные линии, отчёркивающие какие-то места текста.

Я стал всматриваться в отчёркнутые места и вскоре пришёл к убеждению, что неизвестный человек отмечал те места текста, которые соответствовали его тогдашнему положению. Отмеченные места характеризовали главным образом не общечеловеческие размышления, а конкретную жизненную ситуацию человека, оказавшегося жертвой изошрённой клеветы, разоблачение которой было по каким-то личным причинам для него затруднительным. Я внимательно просмотрел всё, отмеченное тонкими карандашными следами. Какая человеческая трагедия стояла за этим?

Я сразу же пожелал выписать отмеченные места текста, но у меня не было бумаги. Впрочем, в конце нашего пребывания в тюрьме нам выдали много бумаги, и я смог осуществить своё желание и свободно вынести записки, которые потом были опубликованы в «Times Literary Supplement». Я почему-то считал себя нравственно обязанным по отношению к этому неизвестному заключенному сделать его тайные страдания известными, хотя бы некоторому числу

людей. Всё это побудило меня предложить вниманию возможного читателя те места из «Калеба Уильямса», которые неизвестный узник выделил, снабдив их очень краткими комментариями.

«Неужели, установив такое правило для самого себя, вы не позволяете воспользоваться им никому другому? Мне от вас ничего не нужно. Как смеее вы отнимать у меня право всякого разумного существа жить спокойно в бедности и невинности?

Каким человеком выказываете вы себя – вы, имеющий притязание

на уважение и похвалы со стороны всех, знающих вас?» / стр.68/.

По-видимому, неизвестный заключенный был человеком бедным и не занимавшим сколько-нибудь значительного социального положения. Выделение этого места говорит в то же время о том, что главный виновник несчастий был, скорее всего, человеком, занимавшим относительно видное положение в обществе.

«А закон, надо думать, найдется и для бедняка, как для богача». /Стр.84/.

Заключенный вновь отождествляет себя с бедняками.

«Закон приспособлен скорее к тому, чтобы служить оружием тирании в руках богачей, нежели щитом, ограждающим более бедную часть общества от их несправедливых притязаний. Однако нанесенная ему на этот раз обида была так жестока, что казалось невозможным, чтобы даже самое высокое положение могло защитить виновного от строгости закона». /Стр.85/.

Это уже явная социальная критика окружающего общества, но вместе с тем и надежда на наказание виновника несчастий.

«Если я вижу, что вы идете в своих поступках неправильной дорогой, мое дело направить вас на верный путь и спасти вашу честь». /Стр.89/.

Это неясный личный намек. Быть может, чувства заключенного к виновнику своих несчастий были столь же противоречивы, как у самого Калеба Уильямса?

«Болят сердце, когда думаешь, что один рождается для того, чтобы наследовать всякий избыток, тогда как доля другого, без какой-либо вины с его стороны, – грязная работа и голод». /Стр.90/.

«Общество отвергнет вас, люди будут гнушаться вами». /Стр. 91/.

Эту фразу заключенный явно относит к себе, к своим страданиям, как и герой романа.

«Тиррел – самый отъявленный негодяй, который когда-либо бесчестил человеческий образ». /Стр.103/.

Тиррел /персонаж романа/ либо отождествляется с виновником несчастий, либо же заключенный был рад отметить место, в котором говорится о том, что подобные злодеи вообще существуют.

«Я горжусь тем, что могу терпеть несчастья и горе, неужели же я окажусь неспособным перенести незначительную неприятность, которую может причинить мне твое безрассудство?». /Стр.113/.

«В один день на него свалились ужасные бедствия: самое жестокое оскорбление и обвинение в самом гнусном преступлении. Он мог бы бежать, так как не было никого, кто торопился бы начать преследование...». /Стр.115/.

По-видимому, возможность побега перед арестом существовала и для Можайского заключенного.

«О, бедность! Поистине ты всемогуща!». /Стр.137/.

Вновь подчеркивается собственная бедность.

«Я не мог двинуться ни вправо, ни влево без того, чтобы глаз моего надзирателя не провожал меня. Он сторожил меня, и его бдительность была пыткой для моего сердца. Конец моей свободе, конец веселью, беспечности, молодости!». /Стр.168/.

Личные переживания от пребывания в заключении.

«Я жертва, принесенная на алтарь преступной совести, которой неведомы ни покой, ни пресыщение; меня вычеркнут из списка живых, и судьба моя навеки останется покрытой тайной; человек, который, убив меня, присоединит это преступление к предыдущим, наутро будет с восторгом и знаками одобрения приветствуем своими согражданами». /Стр.177/.

Заключенный, кажется, находился в состоянии отчаяния, не будучи уверенным, что ему удастся оправдаться.

«У меня не было ненависти к виновнику моих несчастий, это обвинение должно быть снято с меня во имя правды и справедливости». /Стр.183/.

Вновь свидетельство противоречивых отношений к врагу.

«Не было во всем мире двух вещей, на мой взгляд, более противоположных, чем невинность и преступность. Я не допускал мысли, что первая может быть смешана со второй, разве только если

невинный человек позволит победить себя прежде, чем у него отнимут доброе имя». /Стр.188/.

«Между тем я видел, что все начала справедливости ставятся вверх ногами, что невинный, но осведомленный человек оказывается обвиняемым и страдает, вместо того; чтобы держать подлинного преступника в своих руках». /Стр.191/.

«Правдоподобно ли то, что я, украв эти вещи, не позаботился унести их с собой?» /Стр.196/.

По-видимому, заключенный обвинялся в том же, иначе трудно объяснить выделение этой фразы.

«Нет на земле человека, менее способного на то, в чем меня обвиняют. Я призываю в свидетели свое сердце..., свое лицо... все чувства, которые когда-либо выразил мой язык». /Стр.197/.

«Что касается меня, я никогда не видел тюрьмы и, подобно большинству моих братьев, мало печалился об участи людей, совершивших проступки против общества либо заподозренных в этом. О, сколь завидным покажется грозящий падением навес, под которым земледельец отдыхает от своих трудов, в сравнении с пребыванием в этих стенах!» /Стр.193/.

«Тюремная грязь наполняет сердце печалью и производит такое впечатление, будто она гниет и распространяет заразу». /Стр.198/.

«Благословенное состояние невинности и удовлетворенности собой». /Стр.216/.

«Я всегда заявлял, что не совершал преступления, что моя мнимая вина – целиком дело рук моего обвинителя. Он тайно подложил свои вещи и после этого обвинил меня в воровстве. Сейчас я заявляю не только это. Я заявляю, что этот человек преступник, что я узнал о его преступлении и что по этой при чине он решил лишить меня жизни... Я убежден, что вы несколько не склонны способствовать ни действием, ни бездействием неслыханной несправедливости, от которой я страдаю, – заточению и осуждению невинного человека ради того, чтоб убийца мог оставаться на свободе, я молчал об этой истории, пока мог. Мне до крайности претило стать причиной несчастья или смерти человеческого существа. Но всякому терпению и покорности есть предел». /Стр.317/.

Выделение данного места укрепляет меня во мнении, что неизвестный заключенный был обвинен в воровстве, и что ему было,

по-видимому, подложено краденое. По каким-то причинам он не хотел выдавать истинного виновника...

«Неужели мне не остается никакой надежды? Неужели даже оправдание по суду ни к чему? Неужели не найдется такого промежутка времени в прошлом или в будущем, который принес бы облегчение моим страданиям? Неужели гнусная и жестокая ложь, возведённая на меня, будет следовать за мной, куда бы я ни пошел, лишая меня доброго имени, отнимая у меня сочувствие и расположение человечества, вырывая у меня даже кусок хлеба, необходимый для поддержания жизни?» /Стр.346/.

Это последнее выделенное место показывает состояние отчаяния, которое владело заключенным.

Закончив чтение книги, я еще раз внимательно осмотрел ее и в самом начале обнаружил на левом поле одной из страниц полустертые слова, написанные тем же карандашом, что и пометки на полях. Всего имелось два слова. Одно из них все же сохранилось. Это слово «Одинцово» – название небольшого подмосковного города, находящегося на той же железной дороге, что и Можайск, но гораздо ближе к Москве. Неизвестный заключённый происходил именно оттуда. Первое же слово состояло только из четырех букв и, по-видимому, являлось именем. Насколько можно было разобрать, последней буквой этого слова было «а». Быть может, это была женщина?

Насколько удивительны пути, заставившие с трепетом биться сердце неизвестного русского заключенного /заключенной?!/ под воздействием второстепенного английского писателя XVIIIвека.

Когда нас выпускали, на исходе десятого дня моего ареста, нам прочли наставление, как следует себя вести. Начальник тюрьмы, прощаясь, проявил исключительное доброжелательство.

(ТОРМОЗА ОТКАЗАЛИ)

Липавского я впервые увидел во время голодовки Азбеля, Рубина, Галацкого и Горохова. Когда я еще гулял на свободе, а Виталий был под домашним арестом, разнесся слух, что на Липавского совершено покушение. У Липавского, одного из немногих отказников, была своя машина. Согласно его версии (он сам был единственным

источником информации), когда он в очередной раз вышел от Виталия, у его машины на выезде из Телеграфного переулка отказали тормоза, и он чудом спасся от аварии, едва доехав до дома на ручном тормозе! Пока он сидел у Виталия, злодеи из ГБ перекусили трубку с тормозной жидкостью, дабы его погубить.

Эту историю тут же легкомысленно продали иностранным корреспондентам. Мне сразу стало ясно, что это вздор. Во-первых, Липавский был совершенно неизвестен, и чего ради нужно было устраивать это покушение, когда не устраивали покушений на Лернера или Польского, также имевших машины? Имел машину и Солженицын. Во-вторых, т.н. покушение на Липавского было бы на самом деле покушением не на него, а на толпу невинных людей при выезде из переулка на бульвар, причем, поскольку скорость машины там не могла быть высока, шансы на гибель водителя были невелики. Ни один здравомыслящий сотрудник ГБ этого не стал бы делать.

В третьих, как бы Липавский дерзнул ехать домой, в Болшево, на ручном тормозе? Короче говоря, такую клюкву можно было продать только такому доверчивому и доброму человеку, как Виталий, который никогда не имел машины и в конце концов оказался ее жертвой в Израиле. Я сказал Рубину: «То, что говорит Липавский, просто невозможно». Зная Виталия, я абсолютно уверен в том, что он не мог передать Липавскому о моих подозрениях. Но его квартира прослушивалась. Во всяком случае, Липавский стал избегать меня. Я не раз ловил на себе его испуганный взгляд. Расцвет его провокационной деятельности был уже после моего отъезда, пока во время дела Толи Щаранского не выяснилось, что Липавский – штатный сотрудник ГБ.

Я гордился тогда тем, что от моего внимания не ускользнул этот подозрительный человек. Жизнь, однако, показала, что Липавские были среди моих близких друзей, причём очень давно. У каждого из нас был свой Липавский. Лично я, став жертвой мистификации, пустил, например, в ход дело об уголовном преступнике или же сумасшедшем Петре Орешине, как о политической жертве режима. Алик Гольдфарб по излишней доверчивости пустил в ход дело находчивого доктора Штерна, предложившего свой случай, как типичный пример преследования евреев, желающих уехать в Израиль. «Пострадавший» же за правое дело сионизма доктор Штерн даже не заглянул в Израиль, который поднял из-за него мировую кампанию.

ПЯТИДЕСЯТНИКИ

В августе Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов передал мне приглашение посетить свадьбу пятидесятников. Я приглашался в качестве диссидента, из чего можно было предположить, что пятидесятники решились выйти из изоляции, в которой они находились.

На свадьбу пришлось добираться через всю Москву. Указанный адрес оказался на окраине, в поселке деревенского типа, не так давно включенном в городскую черту Москвы. Наконец, я добрался до одноэтажного деревянного дома с довольно большим садом, в котором уже собралось множество людей. Мне было приятно встретить там нескольких знакомых, как и я приглашенных на свадьбу. В их числе я не без некоторого удивления обнаружил молодого православного священника, служившего в одной из главных московских церквей.

Среди гостей были Лёня Бородин и Овчинников. Все это придавало свадьбе известный экуменический характер. В саду были выставлены длинные столы, за которыми сидело много людей. Кроме того, много собравшихся стояло в разных углах сада и за его оградой. Не ошибусь, если скажу, что на свадьбе присутствовало не менее 500 человек. Гости приехали на свадьбу с разных концов страны. Здесь были люди с Дальнего Востока, были люди из Западной Украины. В отличие от того, что можно увидеть в Православной Церкви, здесь было примерно одинаковое количество мужчин и женщин, причем преобладали люди среднего возраста и молодежь.

Преимущественным типом среди собравшихся были люди рабочего вида, но можно было отметить, хотя и незначительную, прослойку людей с высшим образованием, которые, по-видимому, пользовались большим влиянием. Одним из моих соседей оказался шофер. Через некоторое время я познакомился с двумя молодыми женщинами-экономистами с высшим образованием.

Разговоры, которые мне довелось слышать, носили чисто религиозный характер. Они сводилась в основном к толкованию отдельных мест Священного Писания, но эти разговоры целиком поглощали внимание слушающих, и видно было, что их интересы целиком прикованы к религиозным вопросам.

В течение примерно 6–7 часов перед собравшимися выступали проповедники, которые на очень простом языке говорили о зна-

чении веры и тех обязанностях, которые накладывает христианская мораль. Почти все проповедники обладали хорошим даром слова и умели завладеть публикой – люди слушали проповеди с и неослабевающим вниманием.

Несколько раз за все это время проповедники обращались к присутствующим с предложением помолиться, и вот тогда впервые в жизни я увидел молитву пятидесятников, которая, кстати, и явилась предлогом для запрещения в СССР этого народного религиозного движения. Известно, что одним из основных элементов религиозной веры пятидесятников /вернее не веры самой по себе, а их религиозного обряда/ является, так называемая, молитва духом. Пятидесятники и получили свое название от того, что они стараются воспроизвести в своей жизни ту молитву, которой молились апостолы в день Пятидесятницы, о чем рассказывается в Деянии Апостолов. Во время этой молитвы апостолы неожиданно для самих себя обрели способность говорить на незнакомых языках, что признается особым даром Божиим.

Впоследствии способность эта получила свое терминологическое название – «глоссолалия». Так вот «глоссолалия» и является по существу особенностью пятидесятников, отличающей их от других протестантских сект.

Начитавшись за последние 15 лет всевозможных нелепых историй о пятидесятниках в советской прессе, я с некоторой предосторожностью ожидал молитвы духом. Она оказалась короткой и продолжалась не более 2-3 минут, но зато повторялась несколько раз за время свадьбы. Молитва духом несомненно носила экстагический характер, но не сопровождалась заметно выраженными телодвижениями.

В момент этой молитвы сад наполнялся неким неясным шумом, так как каждый молившийся произносил незнакомые слова. Я прислушался к тому, что произносили мои соседи. Характер произносимых ими слов явно зависел от культурного уровня молившихся. У более образованных пятидесятников произносимые звуки напоминали какой-либо европейский язык – немецкий или английский, хотя набор звуков явно не принадлежал какому-либо известному языку. У менее образованных людей звуки носили гортанный, отрывочный характер, не будучи часто вообще похожими на речь. Разумеется, мое наблюдение – весьма поверхностное.

Всё остальное, что я видел у пятидесятников, можно видеть и у баптистов. После окончания молитвы духом, пятидесятники снова возвращались в свое обычное состояние.

Когда проповеди окончились, стали накрывать на столы. Было очень странно наблюдать, находясь в России, что на столах не было ни капли вина. Куращих не было. Трапеза сочеталась с песнями, исполнявшимися молодежным хором. Кроме песен, специально предназначенных для свадебной церемонии и, по-видимому, составлявших важную часть свадебного ритуала вообще, читалось много стихов с поздравлениями жениху и невесте. В целом эта часть свадьбы чем-то напоминала студенческие капустники, но лишь внешне, ибо пятидесятники не ставили своей задачей рассмешить публику или же проявить остроумие. Для них это было торжественной религиозной церемонией. Интересно отметить, что за оградой сада, выходявшего в переулок, столпилось много посторонних. Калитка была открыта, и каждый желающий мог свободно пройти в сад и даже получить свадебное угощение. Несколько активных пятидесятников вышло из-за ограды, чтобы принять участие в горячих спорах с посторонними. Мне даже показалось, что вот именно таким образом они могли бы привлечь, а может быть, и привлекают много новых приверженцев.

Свадьба пятидесятников оставила глубокое впечатление. Я воочию убедился в искренности религиозного порыва этих людей, хотя признаться, молитва духом не стала для меня убедительной. Но уж во всяком случае я не мог найти в ней ничего такого, что могло бы поставить этих людей вне закона, как это было и остается с ними в СССР в течение уже многих лет.

С тех пор пятидесятники у меня стали частыми гостями. Я передавал их материалы на Запад.

ПЕРЕПИСКА С ЖЕЛУДКОВЫМ

*Открылась правда мне в ночи Он шёл, избитый и худой,
Отчетливо проста: К высокому кресту,
Увидел я, как палачи И некий человек седой
На крест вели Христа. Напиться дал Христу.
Превыше всех богов и вер,
Он человеком жил.
За милосердьё Агасфер
бессмертьё заслужил.*

Борис Камянов

Священника Сергия Желудкова я знал с 65 года. Он не был затрепетан, но у него не было места. Жил он в Пскове, но часто наезжал в Москву. Это был классический русский правдоискатель, склонный к религиозному анархизму. Как человек он был очень чистый и честный. Он написал книгу «Почему и я христианин», которая вышла на Западе на русском и немецком языках. Мне довелось прочесть ее только летом 74 года. Я был неприятно поражен в этой книге ее почти полным неприятием того, что христиане называют Ветхим Заветом, и того, что для евреев составляет основную часть их верования. Желудков видел в Ветхом Завете зачатки фашизма.

Я не преминул ему ответить развернутой критикой его отношения к Ветхому Завету. Из истории Русского Православия я знал немало таких попыток ниспровергнуть Ветхий Завет, как вредное еврейское наследие, но они шли только из кругов правого русского радикализма, из среды черносотенства. Все эти попытки обычно решительно отвергались официальной церковью, как бы антисемитски не были настроены те или иные иерархи.

Вообще говоря, отрицание Ветхого Завета коренится в древнем гностицизме, который в первые века после провозглашения христианства дошел до утверждения, что сам ветхозаветный Бог является злым демиургом, и что спасение человечества заключается в борьбе с ним. Отец Сергий сам того не зная, шел в направлении гностицизма, который всегда был связан с либертарианскими идеями.

В своем письме о. Сергию я сделал еще один шаг в кристаллизации своего мировоззрения. Я говорил о Ветхом Завете, как об общей ценности евреев и христиан. Я исходил из принципа развития

Откровения, которое разделяю и сейчас, но тогда еще в письме к Желудкову я как бы признавал, что христианское откровение является более высшим уровнем Божественного Откровения по сравнению с библейским. Позднее я пришел к выводу независимо оттого, что я обнаружил в еврейской религиозной мысли, что еврейское и христианское откровения являются его разными формами, не предназначенными вытеснить одна другую. Они должны сосуществовать. В письме к Желудкову я уже был очень близок к такой концепции.

ПЕРЕВОДЫ ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

БЛУЖДАЮЩИЕ КРЫСЫ

Два вида крыс на белом свете есть:
Те, кто поел, и те, кто хочет есть.
Домашней жизнью сытые довольны –
Голодных манит ветер странствий вольный.

Они идут и в холода, и в зной
Сто тысяч миль, без права на покой,
Нарушить ритм их мрачного похода
Не в силах никакая непогода.

Они легко проходят цепи гор,
Их вовсе не страшит морской простор.
Но их сердца смерть ближнего не тронет,
Когда ломает шею он иль тонет.

Те существа для странствий рождены,
Их морды угрожающе страшны,
Затылки в грубой стрижке все едины:
Они сверкают лысиной крысиной.

Решительно настроенная рать
О Боге ничего не хочет знать,
Не входит крест в их жизненные рамки,
И всем самцам всегда доступны самки.

Лишь низменные чувства есть у крыс:
Им интересно, кто и что прогрыз,
Они желают только пить и кушать –
Отнюдь не думать о бессмертных душах.

Какая дикость этой простоты!
Крыс не страшат ни дьявол, ни коты.
Ни денег, ни хозяйства нет у стаи,
Но крысы мир опять делить желают.

ГЮНТЕР КУНЕРТ

ЛЮДИ

Всегда земной воспримет лик
И тех, кто ростом невелик,
И тех, кто строен и высок –
Всем на земле отмерен срок.

Среди всех нас, и там, и тут –
По росту самый разный люд,
Однако маленький порой
Бывает больше, чем большой.

Что значит в этом мире рост?
Ответ не сложен и не прост,
Зависит от того он ведь,
Под ростом что в виду иметь:

Кто подставляя своё плечо
Готов другим всегда, причём
Корысти в том не ищет, – тот
Высок душою! Рост – не в счёт.

Один – как длинная доска,
Другой – от пола два вершка.
Всяк может свой лишь рост иметь.
Так было, есть и будет впредь.

ВОЛЬФ БИРМАНН

РОДИНА

Ищу покоя среди сплошной борьбы
И страстно рвусь к насыщенности жизни.
Как кратки описания судьбы!
Имел бы всё – и всё бы отдал ближним...
Без дружбы опустевший мир объяв
И сердцем испытал смертельный голод
Вне родины, свой сон врезаю в явь,
Но сам меж явью и тем сном расколот.

Из царства сна, без крика и тревог,
Бросаюсь, пробуждаясь, в море быта.
Хлеб с маслом, чая крепкого глоток –
И все загадки мира вновь открыты.
В извечных войнах за свободы час
Невыносимость вынесу, но скрою
Под пораженьем – труб победных глас,
Любовь – под страхом, правду – под игрою!

Стаканчик на ночь сладкого вина –
И женщина, вакханка! Миг слиянья
Парящих тел – и с двух сторон спина
У зверя страсти за небесной гранью.
Баллады текст в душе уже готов,
Сменился вновь хвост жизни-саламандры,
А песни все из кожи лоскутов
Рождаются, как склеенные кадры.

Ищу покоя среди сплошной борьбы
И страстно рвусь к насыщенности жизни.
Как кратки описания судьбы!
Имел бы всё – и всё бы отдал ближним...
Пронизанный враждою мир объяв
И воспылав безумной жаждой мести,

Смертельный сон вонзить пытаюсь в явь,
Прийти к нему, – но остаюсь на месте...

Перевёл с немецкого Юрий Ткачёв

ОЙГЕН РОТ

Из книги «Чудесный доктор»

ХИРУРГ

Бремя хирурга – тяжелое бремя.
Разрежет, зашьёт. Что же будет тогда?
Если успех – то покой вам на время,
А неудача – покой навсегда.

РАЗЛИЧИЕ

Известно, что детей рождает мать,
Они из материнского выходят тела.
Но у мужчин иная статья,
С мужчинами совсем другое дело:
Рожать мужчине не придётся –
Ребёнок в нём навеки остаётся.

НАУЧНЫЙ ВЫВОД

Две вещи у больных мутнеют разом:
Одна – моча, другая – разум.

Перевел с немецкого Л. Фраер

МИХАИЛ ГОРЕЛИК

ТЕОДИЦЕЯ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ

Бог не интересуется нашими алиби.

Двадцать и один год назад 20 июля 1985 года умер Генрих Бёлль – дата совсем не круглая, но кто придумал, что для разговора о большой литературе непременно нужен информационный повод и круглая дата?

Томик Бёлля попал мне в руки случайно: я раскрыл его, чтобы скоротать поездку в метро. В сущности, я раскрыл просто книжку, оказавшуюся под рукой, – под рукой оказался Бёлль. Так я прочёл ранний его роман «Где ты был, Адам?». Эпиграф из Экзюпери («Полёт в Аррас»):

«Мне случалось переживать подлинные приключения. Я прокладывал новые авиатрассы, первым перелетел через Сахару, летал над джунглями Южной Америки...

Но война это не подвиг, а лишь его дешёвый суррогат.

Война – это болезнь, эпидемия, вроде сыпняка...»

В отличие от Бёлля, если использовать советское клише, Экзюпери сражался «за правое дело» – и вот же на тебе!

Притча о мосте

Книга, которую я раскрыл в метро, издана была в семьдесят седьмом, послесловие несёт печать времени, и даже ещё более раннего: сознание инерционно.

Бёлль – антифашист и антимилитарист, и это хорошо. Но он христианский гуманист, и в этом его слабость. Но зато он любит русскую литературу, он антибуржуазен, он антиклерикален, так что предложить его советскому читателю в общем и целом можно: советский читатель опытен и искушён – он в состоянии отделить пшеницу социального протеста от плевелов католических иллюзий. Как обычно в таких случаях, если лично не знать автора подобных предисловий-послесловий, невозможно определить, действительно ли он так думает, или с сокрушённым сердцем вносит идеологическую плату за прохождение текста.

Я пытаюсь вспомнить, кого из религиозных авторов издавали в СССР. В голову приходят трое: Бёлль, Мориак, Честертон – все католики. Ах, да, Грема Грина забыл – тоже католик.

Когда я говорю «религиозные авторы», я, конечно, имею в виду тексты для понимания которых «религиозное» существенно.

Любопытно критическое замечание послесловия о романе:

«В нём нет композиционной стройности, слаженности <...> тут скорее серия разрозненных военных сцен <...> Возможно, в этом сказались недостаточная опытность молодого в ту пору романиста. Но в сюжетной разбросанности романа есть свой смысл, возможно, и свой умысел» (какой именно, не сказано).

Всё-таки непонятно, недостаточная опытность, породившая технические просчёты, или во внешнем отсутствии композиционной стройности «есть свой смысл»? Автор послесловия очевидным противоречием не смущается.

На мой-то взгляд этот ранний роман Бёлля сделан достаточно искусно: то, что представляется простодушному читателю отсутствием «композиционной стройности», «разрозненными военными сценами», «сюжетной разбросанностью» – входит в общий замысел. Роман построен как коллекция новелл, истории разных людей, пересекающиеся в общем случае достаточно слабо. Но эти слабые взаимодействия – как бы обнаруживающиеся детали общей картины происходящего, скрытой от глаз героев, неясное свидетельство, намёк, что она, эта общая картина, вообще существует, что на свете есть нечто большее, чем броуновское движение человеческих тел.

Какие-то необязательные, но настойчивые совпадения и пересечения. Мы не видим общей картины, не придаём значения деталям, замысел от нас скрыт. Как в жизни.

Вот сидит усталый, испачканный грязью офицер, мы смотрим на него глазами главного героя и испытываем к нему если не симпатию, то сочувствие. Это будущий убийца Файнхальса, оба об этом никогда не узнают, читатели узнают – только если будут внимательны и запомнят мимоходом обронённое, как бы ни для чего не нужное, необязательное имя. Нужно именно для того, чтобы потом узнать и вспомнить.

Встречаются на дороге два одинаковых мебельных фургона: один синий, другой красный. Один везёт солдат на передовую, другой – евреев на истребление. Пару часов назад Файнхальс и Илона

расстались, в этой жизни им уже не увидятся. И вот они совсем рядом, но не знают и никогда не узнают об этом.

О романе «Где ты был, Адам?» как о военном, точнее, антивоенном, антифашистском романе много чего понаписано – нет смысла присоединяться к старателям, копающим в одном месте. В сущности война у Бёлля большая метафора человеческого существования. Скажем, как «Чума».

«Чума» была опубликована в 1947-м, осмысление опыта войны и оккупации. Современный неспециализированный читатель этого просто не заметит. Бёлль написал «Где ты был, Адам?» четырьмя годами позже, «Чуму» наверняка читал, размышлял над ней. «Чума» – экзистенциальный роман с антифашистской проекцией. В чистом виде ни войны, ни фашизма в романе нет. У Бёлля роман о войне – то, что стоит за событиями, надо увидеть. Переключка с «Чумой» прочитывается на уровне эпитафии: *«Война – это болезнь, эпидемия, вроде сыпняка...»* Я не утверждаю, что это умышленно (хотя, как знать), но у образа есть своя логика: он очевидным образом, независимо от намерений Бёлля, апеллирует к Камю. Экзюпери говорит: война, как чума. Камю говорит: чума, как война, – в том числе, как война; обобщённо – как ситуация человека в мире.

Камю живёт в мире, где есть чума, но нет Бога, нет смысла, кроме того смысла, который вносит в ситуацию сам человек; его экзистенциальная стойкость принципиально лишена онтологической основы. Бёлль живёт в мире, где есть «чума» и есть Бог, но Бог не навязывает и даже не обнаруживает Себя, и Он не навязывает смысл: смысл вовсе не очевиден, тем более, что на внешнем событийном уровне Бёлль подчёркивает бессмысленность и абсурдность.

Один из эпизодов – готовая притча. Некий военный инженер всю войну строит мосты. Все построенные им мосты были взорваны. Последний мост – шедевр сапёрного искусства. Главный герой романа, в мирной жизни архитектор, то есть человек понимающий, смотрит, как быстро и складно строится на его глазах мост, как хорошо продумана и организована работа, как хорошо работают люди. Локальный смысл в общей картине бессмысленности. Эпизод написан с видимым удовольствием. Наконец мост построен. Через час его взрывают. Не русские, не партизаны – собственные подрывники.

Бёлль не истолковывает притчу: понимай, как знаешь. Стро-

ительство обречённых мостов бессмысленно? Или (быть может) смысл не связан с материальным результатом? Или (быть может) категория смысла в принципе нерелевантна? Ну, положим, Бёлль слишком католически мыслит, чтобы последнее предположение хоть как-то соотносилось с его контекстом. С другой стороны – он же ничего не навязывает, он только рассказывает истории. Читатель волен искать ключ к ним в своём собственном опыте, в своём собственном контексте.

Война даёт возможность автору легко и просто расправляться со своими героями – в этом смысле она неоценима для романиста. Бёлль этим охотно пользуется: истребляет каждого второго персонажа попадающего ему на глаза. На внешнем уровне эти смерти (за одним исключением) случайны и бессмысленны. Я говорю даже не о большом жизненном смысле, а о малом, ситуативном: ни один из героев не погибает в бою с противником. Почему-то оказался в неправильное время в неправильном месте – сложились обстоятельства по-иному, глядишь, уцелел бы. На более глубоком уровне это не так. Бёлль, бог своего романа, отвечает на прошение Рильке:

«Господи, пошли каждому его собственную смерть, умирание, которое исходило бы из его жизни.»

Бёлль подыскивает каждому умерщвляемому им персонажу смерть, которая была бы клиенту точно по росту, нигде бы не жала и не висела, была бы к лицу. То, о чём говорят: а вам идёт. Инспирированный Окуджавой Вийон просит дать каждому, чего у них нет. Бёлль даёт каждому, только лишь то, что уже собрано в закромах. Смерть как концентрированное выражение жизни. У каждого своя собственная. Раздавая эти подарки, Бёлль демонстрирует не только изрядную изобретательность, но и чёрный юмор. Но, повторяю, при всей внутренней обусловленности – на внешнем уровне все смерти случайны и даже абсурдны.

Где Ты был, Господи?

Единственная неслучайная смерть – смерть еврейской девушки в лагере смерти. Девушка – христианка. Это вовсе не значит, что в романе присутствует еврейско-христианская тема. Просто Бёлль соединяет в одном лице то, что ненавистно нацизму: евреев и свою веру.

Комендант лагеря смерти, воплощённый комплекс неполноценности, иллюзорно преодолевает через нацизм своё ничтожество и внутреннюю пустоту и вполне реально – то человеческое, что в нём есть. Две вещи остались: любовь к музыке (он обожает хоровое пение) и невозможность своими руками убить человека. Отдать приказ – это пожалуйста, затем он здесь и поставлен, а своими руками – нет, не может. Из обречённых на уничтожение он отбирает хористов: спасает для музыки, назначая на должности придурков. Его ненависть к евреям вступает в конфликт с любовью к музыке, и он идёт на компромисс. Его хор прекрасен. Еврейский хор.

Очередь доходит до Илоны. Офицер предлагает ей спеть. Что-нибудь. Всё равно что. Она поёт литанию на день Всех Святых.

«Илона была красивая женщина. Он никогда не знал женщины, его жизнь прошла в тоскливом целомудрии. Оставаясь один, он часто стоял перед зеркалом, тщетно пытаясь обнаружить в себе красоту, и величие, и расовое совершенство. Всё это было в ней, в этой женщине – красота, и величие, и расовое совершенство».

Бёлль противопоставляет скопческое, бесплодное, ненавидящее жизнь и красоту, выхолощенное, бездарное целомудрие и – целомудрие цветущее, наполненное красотой, творчеством, любовью к жизни, будущими рожденьями.

Её пение прекрасно и невыносимо. Он знает эти хоралы и ненавидит их. Но не в силах остановить пение. Непреодолённая чувствительность. Наконец, освободившись от наваждения, он стреляет в Илону и велит уничтожить хор. Убивая Илону и хористов, он убивает в себе остатки человечности. Охотно расправляющийся со своими героями автор теряет к коменданту лагеря всякий интерес: тот уже убил себя и обречён влачить жизнь мертвеца – вмешательства Бёлля не требуется.

Я назвал гибель Илоны неслучайной: она еврейка, ей надлежит погибнуть. Но ведь неслучайной – автоматически не означает: осмысленной. Вот: умирает девушка; любовь к Богу привела её в монастырь – глубокая потребность в семье, в детях заставила её монастырь покинуть. Вот: она наконец встречает человека, который мог бы стать отцом её детей. Разве она хочет чрезмерного? И в этом ей отказано.

Последние часы жизни Илоны параллельны евангельскому повествованию о страстях. Об этом, естественно, не говорится ни

слова, но без евангельского контекста, на который ориентирован Бёлль, и, более широко, без богословского контекста, невозможно понять эпизоды, связанные со страданием и смертью Илоны, в полноте авторского замысла.

Последние слова Иисуса – слова псалма: «Боже, почему Ты оставил Меня?!» Последние слова Илоны – слова литании, гимн Богу и в то же время исповедание веры. В обоих случаях глубоко личное чувство облечено в готовые словесные формы: то, что миллионы людей произносили и произносят сегодня.

В неявном виде Бёлль соотносит Иисуса в его предсмертной богооставленности – с Илоной, которую Бог не оставляет и в ужасе. Но не избавляет от смерти. Но ведь она этого от Него и не ждёт. И о миновании чаши не просит. Она вообще у Него ничего не просит. Она принимает и проживает ситуацию, в которую поставлена. Да будет воля Твоя.

Теодицея Бёлля, невозможная на уровне дефиниции. Её можно интуитивно принять или отвергнуть, но она не в состоянии внятно объяснить, почему «воля Твоя» в том, чтобы Илона не вышла замуж, не родила детей, не нянчила внуков, не стелила постель, не стелила белую праздничную скатерть на стол, почему «воля Твоя», чтобы она не поцеловала больше своего Файнхальса, которого ей показали на миг только для того, чтобы навсегда отнять. Да ведь Бёлль и не обязывался нам что-либо внятно объяснять: он рассказывает истории и не озабочен конструированием концепций.

Теперь, когда Илона убита, Бёлль возьмётся за главного героя. Из композиционных соображений умертвить его следует в последнем абзаце. Бёлль именно так и поступает. Илона научила героя важным вещам: ведь она была столь умна и благочестива, что *«даже священники не смогли угасить её веру»*. Он ведь никак не мог смириться с лицами священников, с их проповедями. Должно быть, и у Бёлля были с этим проблемы. Благодаря ей он понял, что это неважно. Она научила его молиться бескорыстно, не прося ни о чём, – *«в утешение Господу»*. *«Надо же утешить Бога, который вынужден смотреть на лица Своих служителей и слушать их проповеди.»*

Естественно, «Господь», «Бог», «Своих» пишется в советском издании со строчной. Я повысил букву и далее буду производить ту же операцию – полагаю, Бёлль бы меня одобрил.

Теперь Файнхальсу надо бы жить с этим новым знанием, с

новым отношением к миру. Но Бёлль уже приглашает его на выход. Последние дни войны. Человек возвращается домой. Дом его на нейтральной территории: немецкие войска ушли, американцы ещё не вошли. Дом украшен огромным белым флагом. Это скатерть – символ дома: *«одна из тех необъятных скатертей, которые мать по праздникам извлекала из шкафа»*. Патриот Великой Германии, удручённый отсутствием у обитателей дома жертвенного арийского достоинства, открывает огонь по омерзительному капитулянтскому флагу. Снаряд настигает человека на пороге дома. *«Древко флага переломилось, белое полотнище упало на Файнхальса и укрыло его»*. Последние слова романа. Скатерть становится саваном. Возвращение к себе.

Роману предпосланы два эпиграфа. Один, из «Полёта в Аррас» Экзюпери, я уже процитировал. Но есть ещё один, из «Дневников и ночных раздумий» Теодора Хеккера:

«И всемирная бойня может задним числом пригодиться. Скажем, для того, чтобы доказать своё алиби перед лицом Всевышнего. «Где ты был, Адам?» – «В окопах, Господи, на войне».

Процитированный пассаж представляет собой перифраз известного библейского эпизода. После инцидента с запретным плодом Адам прячется от Бога; Бог спрашивает: «Где ты?» (Быт. 2:10.) Бог даёт человеку возможность определить своё место в мире после того, что с ним произошло, Бог даёт возможность раскаяния. Адам её не принимает.

Хеккер (а вслед за ним и Бёлль) остро ироничен: скрывшись от Бога в окопах, человек использует своё бегство от Него как алиби. Но Бог не нуждается в такого рода алиби. Бог вообще не интересуется нашими алиби. Адам – и в Библии, и у Хеккера – не понимает вопроса, отвечает не на *тот* вопрос. Как если бы на тот же вопрос, заданный после смерти, человек ответил: я жил. Да ведь и без того известно, что жил. Богу известно и как жил, но Он хочет услышать это из уст самого Адама.

Многие на месте Бёлля спросили бы, а впрочем, без всякого сослагательного наклонения спрашивали и спрашивают поныне: а где был Ты, Господи? Вопрос этот может быть скорбным, гневным, ироническим, безнадежным, очень часто он риторический.

Но только для Бёлля это вообще не вопрос: Бог был с Илоной.

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА

* * *

Может, тело одной породы с известняком,
Тайны нет – известное дело: вода с песком.
Вот и все, что будет: на камне соль,
Рыбий блеск и косточкой – буква ноль.
И без разницы даже для кораблей –
Под водой лежать ли, идти по ней,
Время жабрами дышит – мое пока –
До слияния с морем – известняка.

* * *

Словно фотография из мрака,
Выхожу из темноты парадной.
Никуда мне, кажется, не надо –
Может быть, в «Бродячую собаку»?
Там пройду под невысокой аркой,
Спрячусь в угол – сердце захолонет:
Одиночество моё – как яркий,
Раскалённый уголь на ладони.

* * *

Средневековая башня, и мы на уровне циферблата.
Ты – стрелка минутная, я – медленная часовая.
Плоть от плоти друг друга, плотью друг друга крылаты,
Смотрим на город мы, не узнавая
Улиц, а узнавая крыши.
Замерли, как перед дверью большого храма.
Я почти не дышу, ты тоже почти не дышишь.
Время на кончике ногтя сжалось до самой
Малой видимой точки. И мы отныне
Будем другими – что нам земные награды,

Если нам свадебный гимн на родной латыни
С самых высоких деревьев поют цикады.

БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ

Это радость свершенного дела,
Это робость последних минут.

Ты проснешься, а кто-то несмело
Скажет: «Разве не веришь? Я тут.
Помнишь белые-белые земли,
А над ними – рассветную нить?
Расстаются, скажи мне, затем ли,
Чтобы так по утрам приходиться
И смотреть, прикоснуться не смея,
На изгибы коленей и рук...
Притяжение линий сильнее
Притяжения наших разлук,
Притяжение трепетной жизни –
Я с тобой, и не думай, что нет.
Ты проснешься, а в форточку брызнет
Апельсиновый поздний рассвет.
И сказать бы хотелось «малышка»,
Провести по затылку рукой,
Только руки горячие слишком
Для тебя – белоснежной такой.
И придется проститься несмело,
И покинуть твой белый уют».

Это радость свершенного дела.
Это робость последних минут.

* * *

Очарованием старого трюка
привлеку тебя:

сделаю кукольный дом, а за дверкой
высажу сад настоящий.
Я – виноградный мальчик
с маленькой терпкой
косточкой в сердце. Дай руку –
вместе пойдём по саду.
Вот это багульник. А рядом –
боярышник, крупный, ветвистый,
розовый, празднично-белый.
Не убежишь, не скроешься – что ни делай
от этого гомона, этого птичьего свиста,
крокусов, бальзаминов, цветущих давидий.
Дальше – дорога к морю. Только не говори мне,
что ты устала. Идём, я покажу, где Овидий
стоял и думал – наверное, думал – о Риме.
Но ты так редко бываешь со мной, так часто с другими,
что мне и года не хватит всё рассказать подробно,
всё показать.
Крокус солнцеподобный
можешь с собой забрать,
если нельзя остаться. Если нельзя иначе.
Дверка – и путь обратный.
Я виноградный мальчик.
Твой виноградный.

НА ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ. МОГИЛА ЦЕБИ

Каждому хватит времени.
Хватит на всё. Больше не надо.
Смотришь глазами серыми
на ограду,
а за оградой –
бронзовый быстрый олень
и надпись: Цеби.
Белая-белая сирень
гроздьями – в небо;
друг другу мы вручены,

земная поросль,
и не разлучены –
просто порознь,
просто земля меж нами –
тонкая плёнка;
скачет олень ногами
к оленёнку,
и свысока
видит: Прага застыла.
Камень вместо цветка
брось на могилу,
брось и не бойся: цветы –
всё те же камни.
Скачет он сквозь кусты –
прямо в глаза мне
и разрывает вату
пространств – рогом.
Врмсни хватит, хватит,
времени много.

* * *

Не озноб – это мраморным взглядом боги
Осязают свой мраморный громкий город,
И меня, и мосты, и обветренные дороги,
И бессонный июнь, и апрель – а в апреле блестит,
расколот,
Птичий лёд, и плывёт по реке к заливу –
До озноба эта река красива,
И темнеет, и льдится, и всё ей мало.
Я иду вдоль северного канала
И прошу как пленник – освобожденья –
Скорой бури прошу я и наводненья,
Чтобы было как прежде: небо, трава, болото,
Чтобы кто-то позвал. И обернулся кто-то.

ИВАН ЗОРИН

БРАТЬЯ ЛИФАРЬ

Мосий и Карп расстались у тюремных ворот одногодками, а когда через десять лет Мосий вновь открыл их, то был на десять лет старше брата. «Год в тюрьме – два на воле», – вылизывая тарелку хлебной коркой, учил он Лукьяна и Кузьму. Солнце катилось за подоконник, обед переходил в ужин, но Мосий не мог ни наесться, ни наговориться. Он отбывал срок с москвичами, и младшие братья, подперев щеки ладонями, слушали про столицу, где чужую жизнь пускают под откос, чтобы своя текла по кисельному руслу. Такие речи в Лютоборске были в диковинку, исколесив пол-России, новости доходили сюда выцветшими, как старые газеты, и держались, как прошлогодний снег.

«А у нас Кузьма вроде знахаря», – похвастался вдруг хромоногий Лукьян, расплывшись, как блин.

Мосий наострил уши.

«Да брешет он... – смутился Кузьма. – Ничего особенного...»

Но Мосий выпятил скошенный подбородок:

«Брось ломаться, выкладывай...»

Вместо ответа долговязый Кузьма, согнулся над братом, как журавль, обнюхал его сверху донизу. «Не могу понять, – зашмыгал он носом, – один запах грубый – твой, а сквозь него другой пробивается – от девки что ли поднабрался?»

«У меня десять лет девки не было, – оскалился Мосий. – А на что тебе мой запах?»

Кузьма снова обнюхал его и отвернулся с дрожащими ноздрями.

«Ну что, нанюхал?» – насторожился Карп. – Да не молчи, голова садовая...»

Кузьма буравил глазами стену.

«Каждая болезнь по-своему пахнет, – тихо промолвил он, ко-

выряя обои. – А в его запахе смерть сочится...»

Мосий побледнел.

«Ну ты, лепило... – начал он с напускной веселостью. – Меня прокурор приговаривал, теперь родной брат...»

Никто не засмеялся.

Вытирая вспотевший лоб, Мосий беспокойно заерзал. Лукьян нервно зевал, обнажая мелкие, острые зубы, и вдруг соскочил с табурета: «Так ты ж утром кобеля на цепь сажал...» Хромого, его догнали в дверях, толкаясь, вместе протиснулись во двор.

Под морозящим дождем, свернув набок лапы, лежал околевавший пес.

Перемешивая тяжелое дыхание, братья сгрудились у собачьей будки. «То-то всю ночь выл», – пнул мертвечину Карп, снимая ошейник. А Мосий почесал затылок: «Надо Кузьму в оборот пускать...»

Через неделю у входа на лютоборский базар выросла постройка, в которой открылся косметический салон. Место было бойким, и торговки повалили – той бровь выщипи, той угри сведи. Переступала порог красавица – глаза, как подсолнухи, а косят, у другой ресницы веером, а нос картошкой. Кузьма никому не отказывал. Голосистый Лукьян, низенький, с оттопыренными ушами, ходил руки в боки, зазывая в салон, а Карп рыскал с бумажкой по деревьям, закупая нужные травы. Деньги вышибал Мосий, Кузьма рук не мрал, золотые они были, мял ими лица, крутил носы, щеки, лепил их заново, будто Господь из глины. «Лифарь – под глазом фонарь», – дразнили Кузьму в детстве. Он злился, кидался в драку, а, когда убежали, бросал камни. Теперь он стал важным, с большой головой и глазами, как пудовые гири, его любили женщины и ненавидели их мужья. Но судьба, как голодный пес: привязалась – не отвяжешься. «Лифарь – бабий лекарь...» – обзывали его мальчишки, провожая на рынок.

И он опять швырял в них камни.

Привозила крестьянка меду, солонины, а все, что наторговала, в салоне оставляла. С Кузьмой приходили разбираться, но, когда встречал Мосий, задор пропадал.

«Клейма на вас нет», – только и орали себе под ноги.

«Бараны, – скалился Мосий, – стерегите лучше жен...»

Однажды зимней, безлунной ночью к салону натаскали соломы, облили стены соляной. Но братья схватили поджигателя, избив

чем попало, выгнали голым на мороз...

Под вечер на огромном, дубовом столе считали выручку, разложив на три кучки – одну на черный день, другую в дело, а остатки делили. «Внешность дело прибыльное», – сгребал свою долю Мосий. Экономил на всем, и Карп, затворяя дверь, подолгу возился с проржавевшим замком. «Но я же могу и мужчин лечить, – вспомнил свое обидное прозвище Кузьма. – И болезни серьезные...» «От добра добра...» – обрезал его Карп, пряча ключ в штаны. «Да ты никак о пользе задумался?» – насмешливо добавил Мосий. И хлопнул по карману: «Вот где вся польза...»

За пазухой у Мосия всегда был пистолет. Однажды в лесу, когда он стрелял по бутылкам, расставленным на пне, из кустов вышел неудавшийся поджигатель их салона, у которого по бокам маячили двое. «Осталась одна пуля», – просипел он. Мосий выстрелил воздух. «А теперь ни одной?» И ткнул дулом в напиравшую грудь. Домой он вернулся не мрачнее обычного, но с тех пор носил запасную обойму.

Дело у братьев шло в гору, и постепенно они подмяли весь рынок. Городской глава, рыжий, приземистый, с толстой шеей и широко оттопыренными карманами, закрывал на все глаза. Его часто видели за столом у Лифарей, он вытирал руки о скатерть, и ел сразу из двух тарелок. «Мы из вас сделаем Европу, – отвалившись от стола, грозил он веснушчатым кулаком. – Не будь я Караваев-Смык!» Но поборы устраивал азиатские. «Будто Мамай прошел», – стонали в Лютоборске, вымещая злобу на воротах городской управы, которые мазали по ночам коровьим навозом. В глаза градоначальника мастили лестью, а за спиной шептались. Караваев-Смык презирал и то и другое, сограждане давно стали для него прочитанной книгой, из которой он вынес главное: его ненавидят, но вновь изберут.

Дед Коромысл уже разменял свой последний десяток. Он служил у братьев сторожем, и, закрывшись в пристройке, ночи напролет горбился перед телевизором. «Ишь, едопоп», – тыкал он сморщенным пальцем в чернокожих рейнджеров. «Это не эфиоп», – ржал Кузьма. Но дед был тут на ухо. «Нынче все едопопы, сынок... – стучал он по экрану кривым ногтем. – Потому как жизнь пошла рыжая-бесстыжая...» Кузьма вспоминал городского главу, но намек не принимал: «На рыжих и седина не замстна, разве ж это плохо?..»

Старики спят мало, и дед целыми днями ходил меж ряда-

ми, удивленно косился на прилавки, трогая разложенную снедь. А в обед хлебал суп, приговаривая между ложками: «На рынке все есть – любви нет...» Случалось, он отчаянно торговался, сбивал цену в половину, но не покупал никогда. «Только время отнял», – злились торговцы. «Честная швея дыр не залатает», – огрызнулся он.

Умер дед Коромысл без копейки за душой.

Его похороны оплатил Кузьма Лифарь.

По праздникам Караваев-Смык жертвовал церкви, давал взятку Богу, уверенный, что небесный мир устроен также, как и земной. Отец Артемий, немолодой, повидавший на веку всякого, деньги принимал, однако держался строго. «Ты же власть, – причащал он градоначальника. – Себя продаешь, значит Родиной торгуешь...»

«Если я живу только раз, – гладил рыжие бакенбарды Караваев-Смык, – то тут никакая Родина не поможет, а если я вечен, то, что тогда Родина?»

Настоятель хмурился: «У каждого своя ересь»

Но иногда городскому главе делалось стыдно. «Может, в Москву податься?» – покрутив рюмку, чокался он с Мосием. «В Москву все слетаются, как мухи на говно, – кричал тот, закусывая огурцом, – ты у себя поднимись...» Караваев-Смык качал головой: «Оно конечно, только в последнее время сердце жмет...» И болезненно жмурясь, хватался за грудь. Тогда приходил Кузьма, обещал поставить на ноги, пил за здоровье гостя, а Мосий хлопал по плечу: «Учти, Каравай, совесть, как баба: спуску не дашь – замучает...» Кузьма охотно поддакивал. Но про себя думал, что совесть, как чума, раз проявилась – могила...

И все шло по-прежнему. Старики глазели телевизор, пугая афроамериканцев с эфиопами, а на дорогах, опустив темные стекла, нарушал правила Караваев-Смык.

Люди везде одинаковые: одни унижают, другие терпят, и все – несчастливы.

Городишко был с носовой платок, и вскоре поползли слухи, что братья живут с цыганкой. Говорили, будто Карп подобрал ее в таборе, Лукьян привел на рынок, Кузьма сделал из нее красавицу, а Мосий забрал себе. Как бы там ни было, Зинаида Мигаль поселилась в доме за крепким забором с резными воротами. «Жар-птица, – вынес приговор городской глава, посещающий родовое гнездо Лифарей. – Не будь я Караваев-Смык!»

И долго крутил ус, забыв про разлитую по стаканам водку.

Зинаида и правда была на загляденье, и Мосий приладил ее в салоне. Теперь мальчишки, дразнившие Кузьму, плющили о витрину носы: «Мигаль – глаза как миндаль...». Женщины о таких мечтали, а мужчины изменяли маршрут, чтобы в них заглянуть. Распустив волосы, Зинаида снимала порчу, гадала на картах, держа за руку, предсказывала судьбу.

Но свою проглядела.

«Что будем делать, Карп? – тихо спросил Кузьма, когда в саду собирали яблоки. – Не могу больше бабу делить...»

Карп, взобравшись на дерево, чернел, как огромный ворон.

«Так откажись...» – ухмыльнулся он, выбросив огрызок.

«Тоже не могу – приворожила...»

Наклонившись, Карп принял пустую корзину: «С Мосием надо советоваться...»

Вечером собрались за столом. Долго молчали, потом, размахивая руками, ругались до хрипоты, а в конце всем сделалось стыдно. Свернув бумажки, кинули жребий. По очереди шарили в темной шапке, ощупывая каждую, надеялись прочесть имя, тянули с опаской, злыми, потными руками. Выпало Лукьяну. «Так тому и быть», – подвел черту Мосий. Успокоенные, разбрелись по углам, но через неделю на счастливого стали коситься. А он и сам оказался не рад, когда схватился с Карпом за ножи. «В нас одна кровь, – развел их Мосий, – кто бы ни победил – прольется...» И тут словно прозрели. «Чем своя, лучше цыганская...» – процедил Карп, с размаху вгоняя нож в дубовый стол. «Дело говоришь», – протянул ему руку Лукьян.

Зинаиду отвезли в лес – сказали, обратно в табор, а чтобы не прочитала чего по сосредоточенным лицам, пустили вперед. За женщиной хромал Лукьян, беспокойно зыркал по сторонам Карп, а Мосий, с рукой за пазухой, дышал им в затылок.

«Пропустите от греха...» – вдруг глухо проговорил он, отстраняя братьев.

Лицо его было ужасно.

«А ты что же, – вечером поддел его Карп, – готов был нас вместо бабы?»

Мосий угрюмо хмыкнул.

Осень на Руси – слякоть да темень, и братья коротали ее, го-

няя чай. «Людишки дрянь, – прихлопнув сонную муху, учил Мосий, – жить не умеют...» «Жить нужно набело», – попыхивая самосадам, соглашался Лукьян. Лениво кусая сахар, напротив них шурился Карп, распустив возле губ пятерню, дул на горячее блюдце. «Кому кнут, а кому хомут», – ввернул он, когда в дощатые ворота постучали. Крыльцо было скользким, и братья, держась за перила, вглядывались в темноту. «На ночлег пустите?» – донеслось сквозь дождь. Убирая со лба мокрые волосы, в луже переминался солдат. «Не постоялый двор... – развел руками Карп. – Проси хлеб-соль у начальства...» «Не те времена, – глядя на заляпанные грязью сапоги, поддержал Мосий. – Нам бы семью прокормить...» Солдат обиделся: «Так у меня тоже дети, а случись война – за всех пойду...» Он смотрел, как сама правда, и хозяева смутились. «Теперь каждый за себя, один телевизор за всех...» – выручил Лукьян. Выйдя из-за спин, он нагло скалился и, обнимая себя, дергал мочки оттопыренных ушей.

Братья стояли плечом к плечу, и солдат, поправив шинель, шагнул в ночь.

«А не боишься войны? – съехидничал вдогон Мосий. – Сирот кто подымет, если отец не вернется?»

«Это ничего, – исчезая в темноте, обернулся солдат. – Когда война, возвращается Бог...»

Мосий сплюнул через плечо. А Кузьме крепко запали эти слова. Теперь он все чаще вспоминал себя ребенком, когда небо было голубым, а жизнь прозрачной. Замирая перед зеркалом, он вспоминал, как стало нестерпимо тихо, когда смолкли родительские голоса, как вдруг повзрослел, услышав долгое, как эхо: «И малóго Кузьму, придет время, возьму...»

Раз в год ходили в церковь. Ставили свечи перед темневшими образами, неумело крестились грубыми, коротким пальцами.

«Никчемная наша вера...» – выкладывал старший из братьев.

У отца Артемия округлялись глаза.

«Жить по ней нельзя, – пояснял Мосий. – Первый встречный на шею сядет...»

Он тяжело комкал шапку:

«А если не жить, значит, лицемерие одно...»

В провинциальном захолустье все грехи наперечет, никогда еще отец Артемий не принимал такую странную исповедь. Он вспо-

минал аргументы, которым учили его в семинарии, но все они казались ему фальшивыми.

«Я в тюрьме всякого посмотрелся, – отвернулся к алтарю Мосий. – Соседа моего брат за решетку упек... А через пять лет пришел каяться: на коленях ползает, молит слезно... Ну, простил его брат, обнялись с плачем, а что толку? Обида-то нутро съела, морщинами вылезла... Нет, из прощения кашу не сварить...»

Мосий неловко замолчал.

«Жизнь земная только миг, – нашелся, наконец, отец Артемий. – Господь потом дарует жизнь вечную...»

«Ах, вона что... – притворно удивился Мосий. – Значит мы здесь в кредит... Но тогда и мы свои долги отложим на потом...»

Он криво ухмыльнулся: «А вдруг потом – суп с котом?»

Лукияна исповедоваться было на аркане не затащить, едва стихали псалмы, он хромал вниз по ступенькам, уступая очередь Карпу. «Кабы все по закону жили, – вздыхал тот, – а то один спину гнет, другой – царь горы...» «Так от Бога награды жди...» – простодушничал отец Артемий. «А за что? – стреляя глазами, ловил его Карп. – За дурь? Что не смог свой кусок вырвать?»

И быстро целовал пухлую руку, которую батюшка не успевал отдернуть.

Отец Артемий совсем отчаялся. Долг заставлял его молиться за братьев, но в глубине он считал их безнадежными. Его проповеди разбивались о стену, и только Кузьма прислушивался, ероша пятерней жесткую шевелюру.

«Тебе Господь талант дал, – давил на него отец Артемий, – а ты кому служишь...»

«Я денег не беру», – отвел он глаза.

«А братья? Они же волки, сколько душ загубили, а свои – первые...»

«Я денег не беру», – упрямо повторил Кузьма.

И вдруг стал принохиваться.

«Ты что?» – суеверно покосился отец Артемий.

Сквозь курившийся ладан до Кузьмы доносился запах болезни.

«Чую, беда приключится, только не пойму с кем...»

Отец Артемий мелко перекрестился. Как оказалось, в последний раз. Ночью его разбил паралич: рука безвольно повисла, и он

слег, провожая затравленным взглядом менявшую «судно» сиделку.

«Дождался, леший», – оскалился Карп, увидев в церкви молодого настоятеля.

«А потом – сдох скотом...» – вбил свой гвоздь Мосий.

Братья процветали, они уже держали распивочные, торгуя водкой, приготовленной в подвале. Самогон лился рекой, деньги текли в карманы братьев. С годами они прибрали весь город, сам Караваев-Смык стал у них на побегушках. Городской глава постарел, осунулся, просиживая целыми днями у окна, разговаривал со стаканом. «Эй, вы, – набравшись больше обычного, высовывался он на улицу, – я – Караваев-Смык, отвечайте, зачем живете...» Ему крутили у виска, а он еще долго сверлил спины горящими, безумными глазами.

От одиночества никто не спасет, и все же о городском главе не забывали.

«Каравай-то совсем плох стал... – тревожился Карп. – Кабы чего не вышло...»

«Да он скорее в штаны наложит, чем на себя руки...» – хмыкал Мосий.

Братья важничали, наняли управляющего, а сами расхаживали, как павлины, распутившие хвост. Только Кузьма по-прежнему исправлял изъяны, будто верил, что красота, и правда, спасет мир. Женщины покидали его салон помолодевшими, но красота, как монета, затираясь, тускнеет, и, набрав свои года, они снова возвращались к Кузьме. Идти домой не хотелось, и после работы Кузьма зачастил на городскую окраину к своему школьному учителю. «Отчего так, – кусал он заусенцы, – кругом все чужие, даже братья...» И, как в детстве, был уверен, что учитель знает ответ. Но старик только гладил жидкую, серебристую бородку, и от его молчания делалось грустно. «Это раньше Русь была птицей-тройкой, – кашлял он в кулак, когда Кузьма уже переставал ждать, – теперь она птица с перебитым крылом – скачет, скачет, а взлететь не может...»

И все шло по-прежнему: с лютоборских драли три шкуры, а у них копилось глухое недовольство, в котором они, как в дырявом корыте, полоскали соседское белье, сливая злость в сплетнях и пересудах. Люди везде одинаковые: одни унижают, другие терпят, и все – несчастливы.

Казалось так будет вечность.

Но вышло иначе.

На Масленицу братья угощали. «Гуляйте, православные, – объявил Мосий, – до среды за счет заведений, а дальше со скидкой...» На Руси, как у лукоморья, стёжки-дорожки кривые, и добро возвращается злом. Братья думали стать благодетелями, а накликали беду. Пропив последние гроши, в пятницу, на «тещины вечерки», лютоборские уже громили трактиры, били половых, а в субботу, распалившись, ринулись к дому за высоким забором. Распоряжался всем чернявый, с глубоким шрамом поперек скулы, которого звали «бароном». «Всех убивайте, – орал он, ворвавшись в сад. – Если кровью повяжемся, спросу не будет...» Прячась шторой, Кузьма беспокойно отворачивался – отовсюду бил в ноздри запах смерти. На его глазах Мосий застрелил двоих, прежде чем раздавленным червяком скорчиться на пороге. Вытащив из-под телеги, низенького Лукьяна никак не могли утопить – привязав к колодезному ведру, несколько раз поднимали, так что сначала, как мальчишки из-за угла, показывались его оттопыренные уши, а потом он сам. Карпу повезло больше: переломив садовые лопаты, его закололи острыми черенками. Последнего из Лифарей, особенно ненавистного потому, что помогал женам задирать нос, мучили дольше. Попадая спяну по пальцам обухом топора, Кузьму приколотили к дощатым воротам. «Попил кровушки, – плевали ему в лицо, – теперь ею умоешься...» Больше других глумился чернявый. Скривив шею, забивал шатавшиеся гвозди, сыпал ругательства, отчего его шрам елозил по скуле.

«Я – брат Зинаиды...» – вдруг приблизил он цыганские глаза.

Но Кузьма не слышал, он опять видел себя ребенком, когда небо было в алмазах, а жизнь – как на ладони. «И малóго Кузьму, придет время, возьму», – звенело у него в ушах.

Под утро лютоборские разошлись по домам, помечая дорогу брошенным барахлом, так что к дверям явились с пустыми руками. Наполняя горницы перегаром, отматерили жен, зачерпнув из кадки рассолу, поставили ковши рядом с кроватью и с детской безмятежностью уткнулись в подушку.

Впереди было прощенное воскресенье, Лютоборск просыпался к обычной жизни, и только висевший на воротах Кузьма чувствовал его смерть...

ПАВЕЛ АНТИПОВ

БОБИК

Жил на свете маленький щенок и звали его, как вы легко можете догадаться, Бобик. Да, просто Бобик, не удивляйтесь.

Такой это был веселый щенок, что просто диву даешься его жизнерадостности. Однажды Бобик ради смеха притворился мертвым. Со всей округи сразу же сбежались маленькие дети и большие взрослые, стали говорить: «Бобик сдох! Бобик сдох!». А Бобик встал, отряхнулся, как ни в чем не бывало, и пошел своей дорогой. Тогда все сразу поняли, что он не сдох, а просто подшутил над ними.

И вот он шутил так наш Бобик, шутил и сам не заметил, как полысел. То есть вся шерсть у него выпала. Может, подбегал близко к местам, где излучение радиоактивное большое. Вот шерсть как выпала, так больше и не росла. Все люди от малых детей до больших взрослых, думая, что Бобик снова шутит, начали кричать ему вслед: «Лысый Бобик». Но Бобик почему-то на них стал обижаться. Люди недоумевали, отчего бы ему обижаться? Ведь не обижался же он, когда они говорили «Бобик сдох». И только самые умные из людей поняли, что Бобик лысый по-настоящему и перестали его дразнить.

Эх, да что же я вам тут такого наговорил? Ведь не щенок это был вовсе, а маленький мальчик. Теперь он, конечно, уже подросток, но волосы у него не выросли. И поэтому он всегда теперь ходит в белой шапочке, чтоб не застудить голову.

7 НОЯБРЯ

Наступило как-то раз 7 ноября.

А бабушка Тереса забыла оторвать лист с отрывного календаря. Утром бабушка Тереса проснулась как обычно в 5 часов и пошла на кухню. Смотрит на календарь и видит, что 5 ноября сегодня.

Позвольте, скажет внимательный читатель, это какое ж такое 5 ноября? Если наступило 7-е, то, принимая во внимание забытый лист, непременно должно было быть 6-е на календаре. Все верно,

дорогой мой внимательный читатель. Но, видимо, ты не учел того обстоятельства, что бабушка Тереса была очень забывчивая и еще 6-го забыла оторвать лист.

Вот, значит, бабушка, думает: «Хе-хе, живешь-живешь на белом свете, а тут трах-бах тебе и 5 ноября. Эх, жизнь – летишь ты как будто... А как будто и не летишь. Только вот не успел родиться и подумать, что живешь, а тебе тут – 5 ноября. И что ты будешь делать?»

От таких мыслей бабушка Тереса и впрямь решила ничего не делать. Потому как это подлость, ведь только на кухню вышла, а ей уже календарь тычет, мол, 5-е число уже бабка, смотри у меня, давай поторапливайся. Ну и пусть себе тычет, а Тереса-бабушка, не будет на него внимания обращать. Вот только включит радио и ляжет на кровать, будет слушать, и вспоминать всю свою жизнь аккуратно до 5 ноября.

Так бабушка Тереса встретила новый год на 2 дня позже, а впоследствии на два дня позже положенного срока умерла. Не Бог ведь какой подарок в конце жизни, но все-таки два дня. Думаю, никто не отказался бы. Я бы нет.

РАЗМЕРЕННАЯ ЖИЗНЬ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ

В городке стоит дом, в доме 5 этажей.

На первом этаже живет недовольный жизнью мужчина. Ему уже под 40, он носит очки и постоянно ворчит:

– Жизнь не удалась, решительно провалилась. Но разве я в этом виноват? Это болото меня засосало: эта страна, этот паршивый городок, этот дурацкий дом. А помню, в молодости так хотелось приключений, событий, происшествий. Но молодость прошла... Прошла молодость. Да и где теперь найдешь приключения в этом дурацком доме, в этом паршивом городке, в этой стране, в этом болоте.

А на втором этаже живет женщина. Ей недавно исполнилось 50, а она до сих пор улыбается, отчего по ее худому лицу лучами разбегаются морщинки. Соседи ее считают странной за то, что она каждый день надевает новую шляпку. А еще у нее постоянно при себе зонт, который она частенько раскрывает, несмотря на то, идет дождь или нет. Бывает, она и дома под зонтом ходит.

На третьем этаже живет девочка-одиннадцатиклассница – выпускница и красавица. Девочка учится на одни пятерки или, как это теперь принято называть – десятки, занимается гимнастикой и ходит в музыкальную школу. Всегда она чистенькая, опрятная, выглаженная. Она, конечно же, регулярно проветривает свою квартиру, потому что от неприятных запахов ее мутит.

Зато на четвертом этаже живет настоящий алкоголик, классический пьяница. Краснорожий, с оторванным карманом на клетчатой рубашке и в неизменном трико. Его вы ни за что не перепутаете с девочкой-красавицей-выпускницей, ведь от него перегаром разит за километр. И представьте, он настолько опустился, что за неуплату у него в квартире выключили воду. Теперь мыться он совсем не может, а в туалет ходит к собутыльникам или на улицу.

А под самой крышей на пятом этаже живет подросток-тинейджер. Он, в общем-то, хороший парень, но еще не разобрался в этой жизни и не знает, как ему ее скоротать. Он бы учился, но ему лень, он бы поступал, но не понимает зачем, он бы в армию пошел, но, слава Богу, откосил. А однажды ему до такой степени было лень, что он даже не донес мусор до мусорки. Он просто вышел на лестничную площадку пятого этажа и высыпал содержимое ведра на лестницу.

Мусор попал прямо на голову алкоголику, классическому пьянице, который как раз выходил к собутыльникам воспользоваться их туалетом, так как у него отключили воду за неуплату. Алкоголик жутко расстроился, что в его подъезде живут такие бескультурные подростки неразобравшиеся в жизни и как-то само-собой помочился в отместку прямо на ступеньки. А тут как раз с гимнастики возвращалась домой девочка-красавица-чистюля. От неприятных запахов ее замутило, и уже у дверей квартиры она поняла, что ее тошнит. Воспротивиться своей природе она не могла, и ее вырвало с третьего на второй этаж. Хорошо, что подходившая женщина в шляпке, как раз раскрыла свой зонт, а то бы ее новой шляпке пришлось худо.

А недовольный мужчина с первого этажа в это время возился с ключом у двери и бурчал:

– Господи, какое однообразие, ничего не происходит в этом болоте, этой стране, этом паршивом городке, этом дурацком доме. Хоть бы обделался кто в подъезде, что ли. Все какое-то развлечение.

ТОМАС МАНН: МЕЖДУ ДВУХ ПОЛЮСОВ

«Не ощущаешь ничего, кроме культуры»

В июле 1919 года Томас Манн ехал в поезде из Мюнхена в Берлин. В купе первого класса он беседовал с попутчиками, о чем оставил запись в своем дневнике: *«В первой половине дня я был один с еврейской парой, чья женская половина вобрала в себя все самые отвратительные бабские черты, сутулая, жирная и коротконогая, один вид которой вызывает рвоту, с бледным задумчиво-меланхолическим лицом и тяжелым запахом духов... Евреи постоянно ели, покупали все, что им во время поездки предлагали, хотя и так имели все с запасом».*

В этом описании Манн не оригинален: постоянно жующие жирные уроды – таков был распространенный образ евреев в многочисленных антисемитских публикациях того времени. Таким представляет их и наш писатель, несмотря на то, что он сам не раз открыто выступал в защиту «гонимого племени».

Начало двадцатого столетия Томас Манн встретил молодым, многообещающим литератором. В 1893 году восемнадцатилетним юношей он переехал в Мюнхен из родного Любека и уже в следующем году опубликовал свой первый рассказ. Потом он работал в нескольких журналах, путешествовал, много писал. В октябре 1901 года в берлинском издательстве Фишера вышел его роман «Будденброки», за который он через двадцать восемь лет получит Нобелевскую премию по литературе. Молодого писателя стали принимать в высшем обществе, перед ним открывались двери самых богатых домов Мюнхена.

В письме брату Генриху от 27 февраля 1904 Томас описал свой визит в дом профессора математики еврея Альфреда Прингсхайма. *«Это событие меня потрясло. Заповедник с настоящими произведениями искусства. Отец – университетский профессор с золотым портсигаром, мать – красавица, будто с полотна Ленбаха. Младший сын – музыкант. Его сестра-близнец Катя (это ее имя – Катя) – чудо, какая-то неопишуемая редкость и драгоценность, одно только ее существование значит для культуры больше пятнадцати*

писателей или тридцати художников... Однажды я оказался в их салоне, украшенном в стиле итальянского Возрождения, с гобеленами, картинами Ленбаха и дверями, обрамленными драгоценным гранитом, и принял приглашение на большой домашний бал. Назавтра вечером – 150 гостей, литература и искусство. В танцевальном зале невыразимо прекрасный фриз Ганса Тома... Восемь дней спустя я был там снова, на чаепитии... И смог спокойно рассмотреть фриз Тома... За столом я сидел рядом с женой советника юстиции Бернштайна... В отношении этих людей и мысли не возникает о еврействе; не ощущаешь ничего, кроме культуры»¹.

Через полгода молодой писатель просил у «университетского профессора с золотым портсигаром» руки его дочери. Третьего октября 1904 года состоялась официальная помолвка Томаса и Кати, а 11 февраля следующего года – их свадьба.

Парадоксы любви

Решение создать семью означало крутой поворот в судьбе молодого литератора. Дело в том, что до Кати его интересовали только юноши. Гомоэротические предпочтения писатель не афишировал, но много писал о них в сокровенных дневниках. Как говорил сын писателя Голо Манн, гомосексуальность его отца «никогда не опускалась ниже пояса». Зато эти увлечения рождали необычные образы в новеллах и романах.

Еще в школе Томас любил, по его словам, «невинной страстью» Армина Мортенса, появившегося потом под именем Ганса Гансена в новелле «Тонио Крегер». Другим школьным интимным другом Томаса был Вилльри Тимпе, чей карандаш писатель хранил у себя до последних лет. Об этом карандаше вспоминал Манн в своем дневнике за пять лет до смерти (запись от 15 сентября 1950 года). «Литературоведы фрейдистского вероисповедания вкладывают в операцию с передачей карандаша свой, однозначный смысл, о котором читатель при желании может догадаться сам», – пишет исследователь творчества Манна Игорь Эбаноидзе. Этот карандаш в романе

¹ Письмо брату Генриху от 27 февраля 1904 года (перевод с немецкого здесь и далее, если не оговорено противное, мой – Е.Б.).

«Волшебная гора» Ганс Касторп берет у своего одноклассника Пшебислава Хиппе, чтобы затем вернуть его Клавдии Шоша.

Буквально накануне помолвки с Катей у Томаса закончился долгий, почти пятилетний роман с художником и виолончелистом Паулем Эренбергом, ставшим прототипом скрипача Руди Швердтфегера в романе «Доктор Фауст».

Нельзя забывать, что в то время однополая любовь однозначно осуждалась обществом. С женитьбой на Кате Прингсхайм Томас Манн выбрал судьбу добропорядочного гражданина. Однако глубоко спрятанное влечение к молодым голубоглазым юношам, прорывающееся в его дневниках, до старости жило в примерном муже и отце шестерых детей.

Отбросы общества

Если с гомозеротикой Томаса Манна современным исследователям все более или менее ясно, то споры о юдофобии автора «Иосифа и его братьев» не затихают до сих пор. Это далеко не простой вопрос. Обвинить в неприязни к евреям художника, написавшего выдающийся роман из еврейской истории, на первый взгляд, кощунственно. Ведь жену Манн выбрал из еврейской семьи, среди самых близких друзей писателя было много евреев, он все свои книги печатал в издательстве, которым руководил еврей... И все же в жизни Томаса Манна сочетались скрытый антисемитизм протестантского бюргера и демонстративный филосемитизм писателя, активного противника нацизма, духовного лидера антигитлеровской эмиграции.

Чтобы разобраться в этом парадоксе, надо вспомнить, каким было отношение к евреям в Германии конца девятнадцатого, начала двадцатого века, ибо Томас Манн разделял многие предрассудки своего времени.

Долгий процесс эмансипации, т.е. уравнивания евреев в правах с «коренным населением», начатый реформами Наполеона в конце восемнадцатого века, растянулся почти на столетие. В Германии только в конституции объединенной империи в 1871 году окончательно признали евреев равноправными гражданами страны. Однако на практике еще долгие годы все происходило совсем не так,

как записано в основном законе.

В повседневной жизни евреи по-прежнему подвергались дискриминации и унижениям. Пользоваться равными с немцами правами мог только тот еврей, которого сами немцы за еврея уже не считали. Другими словами, чтобы быть с другими на равных, еврей должен был отказаться, по крайней мере, внешне, от всего еврейского. В этом была причина столь массовой ассимиляции немецких евреев, лишь формально ставших равноправными гражданами Германии. И даже если еврей занимал в обществе заметное место, в частной жизни он все равно не принимался немцами «за своего».

Катя Прингсхайм очень рано поняла эту горькую истину. На всю жизнь ей запомнился такой эпизод из ее отрочества. Во время приема в доме их соседа, знаменитого художника Франца фон Штука, гостей рассадили за тремя столами. Первый достался аристократам, представителям высшего общества, за другим сидели люди науки и искусства, в их числе супруги Прингсхайм с Катей. А за третьим столом оказались гости «второго сорта», которым почти не доставалось внимания хозяев. В своих воспоминаниях Катя выразилась о них довольно резко: «отбросы» («Abhub»). Среди них был один университетский профессор с женой, которые не скрывали, что они еврей².

Вот такая черта времени. Еврей уже мог занимать профессорскую кафедру в университете, но вечером в гостях у «настоящих немцев» он был вынужден сидеть за особым столом «для отбросов». Этот урок Катя усвоила надолго. Она, как и ее мать, была крещена в детстве, и старалась никогда не говорить о еврейском происхождении. Но с приходом нацистов пришлось вспомнить свои корни.

«Решение еврейского вопроса» по Томасу Манну

Долгое время Томас Манн наблюдал за еврейской эмансипацией и ассимиляцией со стороны. И взгляд его был откровенно недоброжелательным. Будущий нобелевский лауреат вырос в про-

2 Roggenkamp Viola-Erika Mann – Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Arche Verlag, Hamburg 2005.

винциальном Любеке в богатой купеческой семье и с молоком матери впитал настороженность и нелюбовь к евреям-чужакам, угрожавшим разорить традиционный немецкий уклад жизни. Это отразилось уже в первом большом романе Томаса Манна, где упадок торгового дома Будденброков отчетливо связывался с наступлением экспортной конторы «Штрук и Хагенштрём», в одном из хозяев которой читатель без труда узнавал еврея³.

Писатель нигде не говорит о национальности этого персонажа, но и в его фамилии (Хагенштрём), и в описании его внешности и поведения видны привычные для того времени антисемитские стереотипы. Да и женился он *«на молодой особе из Франкфурта, с очень густыми черными волосами и огромными бриллиантами в ушах, каких не было ни у одной из местных дам; в девичестве ее фамилия была Землингер»*⁴.

Неприязнь к евреям у Томаса Манна никогда не определялась ни расовыми, ни религиозными причинами. В начале его жизни она питалась, скорее всего, сословными, классовыми предрассудками. В дальнейшем негативное отношение к евреям имело больше эстетическую природу, художественное чувство Томас Манна оскорбляли пошлость и безвкусица, которые сложившиеся в обществе стереотипы связывали с образом еврея.

Важным эпизодом в жизни Томаса Манна явилось сотрудничество с журналом «Двадцатый век», который издавался братом Генрихом. Журнал был не просто антисемитский, исследователи называют его «радикально антисемитским»⁵. Отличие состоит в том, что радикальный антисемит не видит в ассимиляции решение «еврейского вопроса». Для него ассимилированный еврей все равно остается чужаком, угрожающим традиционному народному укладу. Подобная установка журнала «Двадцатый век» предвосхищала идеологию нацизма, для которой еврей оставался врагом номер один даже после крещения и полного отказа от иудаизма. Томас Манн лучше многих узнал это на примере тещи и жены, христианс-

3 Thiede Rolf. Stereotypen vom Juden. Die frühen Schriften von Heinrich und Thomas Mann. «Metropol Verlag», Berlin 1998.

4 Манн Томас. Будденброки. Пер. с нем. - Н. Ман. М., «Правда», 1985.

5 Dierks Manfred / Wimmer Ruprecht (Hg.): Thomas Mann und das Judentum. Die Vorträge des Berliner Kolloquiums der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft. Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 2004.

тво которых в глазах гитлеровцев не было искуплением их происхождения.

Работа Томаса Манна в издании его брата была недолгой – с апреля 1895 по декабрь 1896 года. Но она предельно четко показывает его взгляды в то время. Исследователь творчества братьев Манн Штефан Бройер (Stefan Breuer) пишет о журнале «Двадцатый век»: *«В таком идеологически заряженном окружении человек находится не потому, что не понимает, что он делает, и не потому, что ему нужны деньги, и не потому, что хочет попробовать себя в разных ролях. Кто работает в таком журнале, делает это по принципиальным соображениям, в полном согласии с тем, что лежит в основе профиля такого издания»*⁶.

Справедливости ради надо отметить, что в то время антипатия к евреям у Томаса была значительно менее выражена, чем у его старшего брата. По тонкой градации Бройера, Томас был просто враждебно настроен к евреям, в то время как Генриха можно было отнести к настоящим радикальным антисемитам.

Поразительна эволюция братьев в их отношении к еврейству. Генрих Манн к началу двадцатого века отказался от своих экстремистских взглядов, и его радикальный антисемитизм сошел на нет. Более того, Генрих стал одним из решительных борцов с антисемитизмом и нарождающимся нацизмом. Томас же никогда на словах не присоединялся к какой-либо радикальной идеологии, от которой он должен был бы впоследствии отречься, и его отношение к евреям мало менялось на протяжении всей его жизни. И антисемитские стереотипы можно найти как в ранних, так и поздних текстах писателя.

В 1907 году Томас Манн опубликовал эссе, название которого заставляет вздрогнуть тех, кто помнит, что произошло в Германии через четверть века. Эссе называлось «Решение еврейского вопроса». В целом автор твердо и последовательно стоит на стороне евреев, он убежден, что осуществление мечты сионистов и «исход» из Европы будет крупнейшим несчастьем для Старого Света. И буквально несколькими строками ниже Манн пишет о *«безусловно деградировавшей и обнищавшей в гетто расе»* и переходит на покровительственный тон: *«Сейчас решительно нет никакой необходимости представлять себе еврея обязательно с жирным гор-*

6 См. примечание [5], стр. 90

бом, кривыми ногами и красными, постоянно жестикулирующими руками, наглым и хитрым поведением, короче, олицетворяющим в себе все грязное и чужое. Напротив, такой тип еврея встречается крайне редко, а среди экономически продвинутого еврейства обычные уже молодые люди, в которых чувствуется благополучие, элегантность, привлекательность и культура тела, эти люди делают мысли немецких девушек или юношей о смешанном браке вполне естественными...»

Вряд ли читатель этого отрывка проникнется большой симпатией к евреям, даже если у них жирный горб и кривые ноги стали встречаться реже. Автор, похоже, убежден, что он добр и справедлив, но вольно или невольно использует самые грязные антисемитские стереотипы своего времени. Более того, писатель сам такие стереотипы создает.

Показательно, что вплоть до самого Холокоста Томас Манн считал не ассимилированных евреев столь же неприличными в обществе, как мужчин, открыто живущих гомосексуальной жизнью.

И все же в палитре отношения Томаса Манна к евреям присутствуют не только темные краски. Томас с ранних лет ощущал свою «особость», отличие от нормальных людей. Он был «белой вороной» не только из-за нетрадиционных эротических влечений, но и вследствие особого художественного дара, не позволявшего пройти мимо фальши или безвкусицы. Художник в обществе – всегда изгой. И это сближает его судьбу с судьбой других изгоев – евреев. Как писала в «Поэме конца» Марина Цветаева:

*Гетто избранничеств! Вал и ров.
пощады не жди!
В сем христианнейшем из миров
Поэты – жида!*

Инцест как символ

Через несколько месяцев после свадьбы отношения Томаса Манна с его новыми родственниками стояли на грани полного разрыва. Причиной была новелла «Кровь Вельзунгов», написанная в 1905 году.

В блестящем с литературной точки зрения произведении рассказывается о семье богатого еврея Ааренхольда, в котором внимательный читатель без труда узнавал Альфреда Прингсхайма. Ааренхольд родился на востоке, что напоминает о происхождении мюнхенского профессора из Силезии. Как и Прингсхайм, Ааренхольд – известный коллекционер. Его зовут почти так же, как одного из главных конкурентов Альфреда – берлинского собирателя произведений искусств и богатого промышленника Эдуарда Арнхольда. Фамилию другого коллекционера итальянской майолики, крефельдского текстильного магната Адольфа фоп Бекерата, Томас Манн тоже использовал в новелле: так зовут будущего зятя Ааренхольда. Его свадьба с Зиглиндой Ааренхольд должна состояться через восемь дней после описанных в новелле событий.

Состав семьи Ааренхольда напоминает семейство Прингсхаймов: младшие дети – Зигфрид и Зиглинда – близнецы, как Клаус и Катя. Интерьер дома Ааренхольда, хоть и перенесенного автором в берлинский Тиргартен, до деталей похож на внутренность дома по улице Арси, 12. Томас Манн детально описывает огромную столовую с тремя электрическими люстрами, гобелены на стенах, драгоценные коллекции в шкафах. Даже медвежья шкура, играющая важную роль в новелле, была хорошо известна посетителям виллы Прингсхаймов.

Новелла начинается с ударов гонга в полдень, которые зовут семейство на завтрак. За богатым столом, заставленным деликатесами, оказываются супруги Ааренхольд, их старшие дети: собирающийся стать офицером Кунц и двадцативосьмилетняя студентка юридического факультета Мерит. Близнецы входят в столовую, держась за руки. Чуть задержавшись на службе, появляется жених фон Бекерат, типичный немец-бюрократ, чиновник, не хватающий звезд с неба.

Томас Манн очень искусно показывает роскошные условия жизни в семье Ааренхольд, настолько роскошные, что для самой жизни просто не остается места.

Близнецы просят разрешения вечером пойти в оперу. Прослу-

7 Pringsheim Klaus. Ein Nachtrag zu „Wälsungenblut“. In: Betrachtungen und Überblicke. Zum Werk Thomas Manns, hrsg. Von Georg Wenzel, Berlin, Weimar 1966.

шав «Полет Валькирий» неперменного Вагнера, они возвращаются домой, где не находят никого, кроме прислуги. В комнате Зигфрида они отдаются друг другу на знаменитой шкуре белого медведя.

Только потом приходит Зиглинде мысль о женихе. «*Что же с ним будет?*», – пытается сообразить она. Брат успокаивает ее, явно подчеркивая разницу между ними и «гоем» Бекератом: «*Ну, он теперь должен быть нам благодарен. С этого момента он будет вести не такую тривиальную жизнь, как раньше*».

Томас Манн откровенно неприязненно рисует почти ассимилировавшуюся семью богача. Сам Ааренхольд – типичный «мещанин во дворянстве», не избавившийся от акцента простолюдина. Его жена – дочь богатого торговца, «*маленькая, некрасивая, рано состарившаяся и словно высохшая под чужим горячим солнцем*». Дети, презирающие отца за его манеры, сами ничего собой не представляют, только тратят деньги родителей. Последний шаг к полной ассимиляции – брак Зиглинды с «гоем» Бекератом. И против этого шага восстает глубоко спрятанное еврейство: инцест становится символом такого сопротивления.

Постоянный издатель Томаса Манна Самуэль Фишер с радостью принял удавшееся произведение к печати. Новелла должна была выйти в ближайшем номере журнала «Нойе Рундшау» в начале 1906 года. Уже была готова верстка журнала, когда автор засомневался, не оскорбит ли его рассказ семью его молодой жены. Тогда он прочитал новеллу Хедвиг и Клаусу Прингсхаймам. Клаус писал в воспоминаниях, что он «*почувствовал себя скорее польщенным, чем оскорбленным*»⁷. Хедвиг решила все же поставить в известность мужа.

По словам Клауса, отец разбушевался и вызвал к себе зятя для разговора один на один. В результате Томас Манн послал Фишеру телеграмму с запретом печатать его новеллу. Журнал вышел без скандального текста. «Кровь Вельзунгов» увидела свет только в 1921 году в издательстве «Фантазус» Георга Мартина Рихтера с прекрасными иллюстрациями Томаса Теодора Хайне.

Много позже Катя в своих воспоминаниях⁸ скажет о страстях вокруг новеллы Томаса Манна: «*Много шума из ничего*». Параллели с домом Прингсхаймов кажутся ей «*чисто психологически полной*

8 Mann Katia. Meine ungeschriebenen Memoiren. Frankfurt am Main. 1974, стр. 74.

бессмыслицей». Правда, сам автор считал иначе.

В письме своему брату Генриху от 17 января 1906 года Томас признавался, что, узнав о слухах, будто семья его жены скомпрометирована его рассказом, он заново перечитал новеллу под этим углом зрения и нашел в ней определенные основания для такого мнения.

Альфред Прингсхайм слишком любил свою дочь, чтобы продолжать конфликт с зятем после того, как публикация компрометирующей новеллы была запрещена. Формально инцидент был исчерпан, но след его еще долгие годы омрачал отношения между профессором математики и знаменитым писателем.

Споры и ссоры

«Кровь Вельзунгов» была далеко не единственной причиной разногласий между Прингсхаймом и Манном. Жизнь писателя проходила в ожесточенных спорах и схватках с литературными противниками. В некоторых из этих сражений принимали участие и супруги Прингсхайм.

Вскоре после скандала с ненапечатанной новеллой жена Альфреда Хедвиг жаловалась своему другу Максимилиану Хардену: *«Катин муженек по-прежнему продолжает совершать одну глупость за другой и проводит свою жизнь в оскорблениях и опровержениях»*⁹.

Особенно напряженными были отношения Томаса Манна и Теодора Лессинга. Последний не был совсем чужим для Альфреда Прингсхайма. Именно мюнхенский математик рекомендовал руководству Ганноверского технического университета принять Лессинга заведующим кафедрой философии.

В дневниках Хедвиг Прингсхайм есть красноречивые свидетельства того, что в особенно запутанных случаях Томас Манн охотно пользовался помощью тестя и тещи:

«15.5.1910. Семейство Томаса пробыло у нас весь день, вплоть до вечера, да еще приехал Бернштайн. Обсуждался скандал с Лессингом.

⁹ Цитируется по книге Jens Inge und Walter. Katias Mutter. Das außerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim. Rowohlt Verlag, Hamburg 2007, стр. 76.

16.5.1910. Обед с Томасами, Катя в саду готовит чай. Непрестанные разговоры о Лессинге достигли апогея, Альфред пишет ему короткое и откровенное письмо.

17.5.1910. Письмо Лессинга; необходимо мое посредничество. После ужина Томасы остаются для продолжения обсуждения той же темы, при этом Томми решается снять с Лессинга обвинение в оскорблении чести, если тот пообещает полностью уничтожить брошюру»¹⁰.

Иногда для взрыва достаточно маленькой искры. Накануне нового, 1927 года на улице Арси произошел громкий семейный скандал, на первый взгляд, из-за сущего пустяка. В присутствии Томаса Манна физик Петер Прингсхайм непочтительно высказался о Шопенгауэре. Отец Петера, который всю жизнь не переносил этого философа, поскольку тот не признавал математику, заметил сыну, что не стоит шуметь из-за подобной ерунды. По-видимому, Альфред Прингсхайм не догадывался, что его зять был горячим приверженцем великого философа. Катя вспоминает: Томас Манн побледнел, его трясло, как в лихорадке, но в гостях он все же сдержался, зато дома дал волю своему гневу. Он утверждал, что его намеренно унизили и оскорбили, и что на улице Арси это проделывают уже в течение двадцати лет.

Но Волшебник, как называли Манна в семье, был отходчив, и отношения между семьями продолжались, оставаясь большей частью ровными и родственными, но иногда опять накаляясь до белого каления.

Порой ссора возникала между явными единомышленниками. И Альфред Прингсхайм, и Томас Манн были страстными поклонниками Вагнера. Может быть, поэтому они ревниво следили за любыми высказываниями об их кумире. Хедвиг вспоминала, как возмутился ее муж на замечание писателя о «полуварварском Фестшпильхаузе», недостойном трагического искусства композитора. Альфред, материально помогавший строительству оперного театра в Байройте, воспринял эту оценку как личную обиду.

Но иногда один страстный вагнерианец вставал грудью на защиту другого. В апреле 1933 года, когда Томас и Катя были в

¹⁰ Там же, стр. 77.

швейцарском Лугано, в газете «Мюнхнер нойесте нахрихтен»¹¹ был напечатан «Протест вагнеровского города Мюнхен», подписанный многими известными музыкантами, учеными, литераторами. Эти люди протестовали против «поношения Томасом Манном за границей в его речи «Страдание и величие Рихарда Вагнера» нашего германского мастера».

Впечатлительный художник очень болезненно воспринял этот удар. В дневнике Томаса Манна есть такие строчки: *«Целый день нахожусь под воздействием сильнейшего шока, вызванного омерзением и ужасом... Окончательно укреплен в своем намерении не возвращаться в Мюнхен и употребить всю свою энергию, чтобы остаться в Базеле»*.

Томас Манн написал опровержение, которое было напечатано в нескольких немецких газетах. Из Германии пришло множество писем с поддержкой писателя. Особенно тронула Манна защита Альфреда Прингсхайма. Старый профессор и академик Баварской академии наук написал 17 апреля 1933 года письмо своему коллеге, физику Герлаху, который подписал злосчастный «Протест»: *«Многоуважаемый коллега! С некоторым удивлением, вернее, я бы даже сказал, с откровенным огорчением, я увидел Вашу фамилию среди подписей под этим памфлетом... Я, правда, придерживаюсь несколько устаревших взглядов, но если кто-то позволяет чей-то злой воле воспользоваться его именем как прикрытием для столь оскорбительного навета, основанного на бессвязных, надерганных из пятидесятидвухстраничного доклада фраз, к тому же частично фальсифицированных, тот обязан, по меньшей мере, потрудиться хотя бы заглянуть в оригинал. Но к моему великому сожалению я позволю себе усомниться в том, что хотя бы один из уважаемых подписавших господ исполнил эту святую обязанность... Ежели у Вас как представителя точной науки, быть может, возникло желание узнать содержание обсуждаемого доклада, я весьма охотно предоставлю Вам для ознакомления имеющийся у меня экземпляр»*¹².

11 «Münchener Neueste Nachrichten» («Мюнхенские свежайшие новости») – мюнхенская ежедневная газета, основанная в 1848 году. Последний номер газеты вышел 28 апреля 1945 года.

12 Цитируется по книге Jens Inge und Walter. Frau Thomas Mann (см. примечание 29), русский перевод И.Солодуниной.

Альфред Прингсхайм не только защищал своего зятя, не только требовал справедливости в отношении своего музыкального кумира, он поднял голос против откровенной травли противника нового режима. Возможно, он и не догадывался тогда, что скоро и сам станет «врагом народа», и ему не будет места в гитлеровской Германии.

Кругом евреи

«Еврейский вопрос» никогда не был для Манна отдельным от его собственной судьбы. То, что он категорически осуждал у евреев, он ненавидел и в себе самом. То, чем он гордился в себе, он превозносил и в евреях. Отсюда и постоянные колебания в отношении к ним – от безразличной недоброжелательности до восторженного возвышения.

Любопытны обращения Манна к жене. Слово «еврейка» в его дневниках и письмах отсутствует. Один раз, правда, еще до свадьбы, Томас написал брату о Кате: *«эта своеобразная, хорошенькая и эгоистически вежливая маленькая еврейка»*. О происхождении жены он никогда не забывал. Не раз называл ее *«принцесса Востока»*, восторгался ее плечами *«цвета слоновой кости, не такими, как у наших женщин»*... И радовался, что в крови его детей есть генетическая память Ближнего Востока (*«Morgenland»*).

Сразу после рождения своего первенца, Томас писал брату: *«Малышка, которая по желанию матери должна зваться Эрикой, обещает стать очень хорошенькой. Иногда мне кажется, что в ее чертах можно разглядеть немножко еврейства, что мне очень нравится»*¹³.

Писателю, активно выступавшему в прессе, не раз приходилось публично спорить с критиками и журналистами. Многие из них были евреями. Делать выводы из этой литературной борьбы об особом отношении писателя к евреям было бы неправильно. В полемике с Альфредом Керром Манн вовсе обыгрывал еврейское

13 Цит. по книге Roggenkamp Viola. Erika Mann. Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Arche Verlag, Hamburg 2005.

происхождение своего оппонента, нередко опускаясь до вполне антисемитских выражений. Но в то же время Томас с боевым задором защищал другого еврея – Самуэля Люблинского¹⁴ – от нападок Теодора Лессинга¹⁵, тоже, кстати, еврея, причем защищал своего друга именно как «еврейскую жертву»¹⁶. К Лессингу у Томаса Манна было особенно негативное отношение. В своих дневниках он называет его «худшим примером еврейской расы» и относит его и Керра к своим «заклятым врагам».

Для справедливости следует сказать, что и Лессинг, обличая Манна, не стеснялся в выражениях: «засахаренный марципан из Любека» было одним из самых мягких.

Судьба Теодора Лессинга глубоко трагична. Одним из первых он понял, какую опасность представляет избрание на пост президента Германии престарелого маршала Гинденбурга. Лессинг предсказал, что на смену этому политическому ничтожеству придет «нечто». Он словно видел будущую диктатуру Гитлера, которого Гинденбург привел к власти¹⁷.

Жизнь пророков заканчивается трагически. Лессинг пал одной из первых жертв нацистов, пришедших к власти 30 января 1933 года: через восемь месяцев он был застрелен в отеле чешского города Мариенбада, куда бежал из Ганновера после назначения Гитлера канцлером. На письменном столе философа осталась неоконченная рукопись «Майн Копф», в которой он высмеивал мстительного автора книги «Майн Кампф»¹⁸.

Томас Манн достаточно холодно встретил сообщение об убийстве своего литературного противника. В дневнике писатель отметил: «Я боюсь такого конца, но не потому, что это конец, а потому, что это жалкий конец, приличествующий какому-нибудь Лессингу, но не мне»¹⁹.

14 Lublinski Samuel (1868–1910) – историк литературы и религиозный философ.

15 Lessing Theodor (1872–1933) – философ и публицист.

16 Detering Heinrich. Juden, Frauen und Literaten. Zu einer Denkfigur beim jungen Thomas Mann. S. Fischer. Frankfurt/Main: 2005.

17 Беркович Евгений. Теодор Лессинг – пророк и жертва. В кн. Беркович Евгений «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста». Изд. «Янус-К», М. 2003.

18 «Mein Kopf» («Моя голова») – пародия на «Mein Kampf» («Моя борьба») – программное сочинение Гитлера.

19 Mann Thomas, Tagebücher 1933–1934, Frankfurt a. M. 1977, S. 165

В это время писатель уже находился в эмиграции. Он выехал вместе с Катей в феврале 1933 года в большую поездку по Европе, собираясь посетить Голландию, Францию и Швейцарию и выступить с докладами о своем любимом композиторе Вагнере²⁰. После этого Томас и Катя собирались отдохнуть на швейцарском курорте Ароза, где в свое время лечилась Катя, и где родился замысел романа «Волшебная гора». Но положение в Германии изменилось катастрофически быстро.

Бессмысленно сравнивать писательский дар нобелевского лауреата по литературе и профессора ганноверского технического университета, но в области политического предвидения Теодор Лессинг оказался куда прозорливей, чем его вечный литературный противник Манн.

Вынужденная эмиграция

Пожар в Рейхстаге 27 февраля 1933 года позволил Гитлеру сделать решительные шаги к диктатуре. Уже на следующий день был издан декрет, приостанавливающий действие важных статей конституции. Фактически были отменены свобода печати, право граждан на объединения, тайна переписки, неприкосновенность жилища и частной собственности. Одновременно была введена смертная казнь за государственную измену. Тут же начались аресты противников нацизма, прежде всего, коммунистов и социалистов. Друзья настоятельно советовали Томасу Манну не возвращаться в гитлеровскую Германию.

В ночь 10 мая 1933 года во многих немецких городах горели книги «вредных» с точки зрения нацистов авторов. Акция была подготовлена и проведена Студенческим союзом, активно поддерживающим гитлеровскую политику. И хотя Томас Манн не значился в списке «вредных» авторов по разделу «Художественная литература», все же в отдельных городах (Ганновере, Геттингене, Кельне и Гамбурге) студенты проявили инициативу и сожгли несколько томов нобелевского лауреата. В тот день сгорели и три книги его брата

20 Доклад назывался «Страдания и величие Рихарда Вагнера» и вызвал протест прогитлеровски настроенной интеллигенции Мюнхена.

Генриха, и одна книга сына Клауса. Костер в Мюнхене был разведен на Королевской площади, всего в нескольких шагах от дома по улице Арси, 12, принадлежащего профессору Прингсхайму.

Больше в Германию Томас и Катя Манн не вернулись. Немало неприятных минут пришлось пережить Томасу из-за его дневников, оставшихся в Мюнхене. Они хранили столько сокровенных тайн личной жизни и душевного мира писателя, что, попав в руки врагов, могли стать страшным компроматом на Томаса Манна. Из тысяч дневниковых записей можно было выбрать такие, что репутация их автора была бы бесповоротно уничтожена. А в бесстыдстве и жестокости нацистской пропаганды Манн не сомневался. Поэтому первой его просьбой к сыну Голо, остававшемуся в Мюнхене, было переправить рукописи в Швейцарию.

Дальше начинается настоящая детективная история, описанная Игорем Эбаноидзе в предисловии к публикации дневников Манна в «Новом мире»²¹: *«Когда дневники были уже упакованы, Ханс Хольцнер, шофер Маннов, уже некоторое время, как выяснилось впоследствии, работавший на нацистов осведомителем, предложил Голо свои услуги в доставке чемоданов к швейцарской границе. С согласия ничего не подозревающего Голо Манна Хольцнер вечером 10 апреля отвез дневники, полагая, что они содержат «нечто политическое», прямо в мюнхенскую штаб-квартиру нацистской партии».*

Томас Манн ничего не подозревал о случившемся, так как Голо сообщил ему об успешной отправке рукописей. Только через пару недель писатель понял, что произошло. Вот тогда и настали мучительные дни, когда даже мысль о самоубийстве приходила в голову. В последний день апреля Манн записывает в дневнике: *«Мои опасения относятся сейчас в первую очередь, и почти исключительно, к этим покушениям на тайны моей жизни. Они мучительны и глубоки. Ужасное, даже смертельное может случиться».*

Томасу Манну в этот раз повезло, и ничего смертельного не случилось. Нацисты не нашли в дневниках политического криминала, и с помощью адвоката рукописи удалось забрать из архивов партии и переслать все же в Швейцарию. Эти дневники Манн впоследствии сжег.

21 Томас Манн. Из дневников. Перевод с немецкого, предисловие и комментарии Игоря Эбаноидзе. «Новый мир», №1 1996.

Эмиграция приносила не только моральные страдания. Писателя, привыкшего жить если не в роскоши, то в полном достатке, угнетала перспектива скатиться в бедность. *«Я чувствовал себя плохо, а осмотр дома, после которого у меня создалось отвратительное и угнетающее ощущение деклассированного существования, еще ухудшил состояние моих нервов, <...> вплоть до слез»,* – записал он в дневнике от 3 мая 1933 года. Но материальное положение семьи Маннов отнюдь не было катастрофическим.

Удачным оказался совет друзей оставить Нобелевскую премию, полученную в 1929 году, в заграничном банке и не привозить ее в Германию. Эти деньги оказались очень кстати в эмиграции, ибо нацисты арестовали все имущество Маннов, оставшееся в Мюнхене. Поэтому он мог чувствовать себя в относительной безопасности и высказываться свободно.

«Большой друг евреев»?

Антисемитские стереотипы, словно шоры, мешали писателю сразу увидеть истинную суть многих важных событий двадцатого века. И тогда его высказывания удивительно совпадали с тем, что говорили нацистские пропагандисты. Например, в своих дневниках с 1918 по 1921 годы он называет события в России *«еврейско-большевицким кошмаром»*²². Но еще поразительней оценка Томасом Манном первых действий нацистов после прихода их к власти. Уже 7 апреля 1933 года был принят закон «О восстановлении профессионального чиновничества» (*«Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums»*). Это был первый законодательный акт нацистов, в котором появились расистские формулировки. Так в §3 этого закона говорилось, что *«государственные служащие неарийского происхождения должны быть отправлены на пенсию»*.

В дневниковой записи от 10 апреля 1933 года Манн комментирует принятый три дня назад закон: *«Евреи... В том, чтобы прекратились высокомерные и ядовитые картавые наскоки Керра на Ницше, большой беды не вижу; равно как и в удалении евреев из сфе-*

22 Darmaun Jacques: Thomas Mann, Deutschland und die Juden. (Conditio Judaica 40) Max Niemeyer. Tübingen: 2003, S. 111.

ры права – скрытное, беспокойное, натужное мышление. Отвержительная враждебность, подлость, отсутствие немецкого духа в высоком смысле этого слова присутствуют здесь наверняка. Но я начинаю предчувствовать, что этот процесс все-таки – палка о двух концах»²³.

В конце этой записи Манн сетует, что немцы столь глупы, что выплескивают из корыта вместе с мыльной водой людей такого типа, как он. Если бы не это, он готов признать действия нацистов против евреев не лишенными оснований.

Окончательный разрыв с нацистами произошел в 1934 году. Томас Манн не мог выехать из Швейцарии ни в одну из стран мира, так как его немецкий паспорт был просрочен, а для его продления власти требовали приезда писателя в Германию. Там его ждал бы неминуемый арест, соответствующий приказ уже был отдан полиции. Дом Манна в Мюнхене был конфискован под предлогом неуплаты налогов. Тогда-то взгляды Томаса Манна стали более определенными, и он публично отказался от немецкого гражданства. Вместе с ним порвали с гитлеровской Германией еще 36 видных немецких интеллектуалов, среди них Альберт Эйнштейн. Любопытно, что еврею Эйнштейну власти не позволили выйти из гражданства «по собственному желанию». Его заявление от 4 апреля 1933 года было отклонено, и в апреле 34-го его лишили гражданства «в порядке наказания». Кроме того, за отказ принести новую обязательную присягу на верность фюреру и его правительству Манн и Эйнштейн были исключены из Прусской академии наук.

В развернувшейся в нацистской печати травле Томас Манн и был назван «*бесспорно, большим другом евреев*». Эту оценку охотно распространяли по миру и друзья писателя. Такое мнение о Манне еще более укрепилось после выхода в свет романа «Иосиф и его братья», первая часть которого появилась уже в 1933 году. А когда писатель стал с 1940 года ежемесячно обращаться по радио из США к немецкому слушателю (передача называлась «*Deutsche Hörer!*») и был избран членом множества комитетов помощи эмигрантам и беженцам (среди них «Комитет для еврейских и христианских бе-

23 Цит. по книге Kurzke Hermann: Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Eine Biographie. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 2001.

женцев»²⁴), мнение о филосемитизме нобелевского лауреата стало всеобщим.

Раздвоение сознания

Новые правители Германии еще до принятия первых антиеврейских законов стремились изгнать с общественной сцены самых заметных представителей «еврейского духа» – писателей, художников, музыкантов. Для Гитлера, в совершенстве владевшего искусством манипулирования общественным сознанием, подобные демонстративные акции были не менее важным инструментом, чем террор и физическое насилие.

Результаты оказались для нацистов вполне удовлетворительными: большинство населения поддержало правительственные инициативы. Даже если кто-то из интеллектуалов не был согласен с безжалостным увольнением того или иного еврейского коллеги, то в целом приветствовал освобождение немецкой культуры от «еврейского засилья».

Пример такого «раздвоения сознания» мы уже видели у Томаса Манна, который, с одной стороны, пишет в своем дневнике: *«В том, чтобы прекратились высокомерные и ядовитые картавые наскоки Керра на Ницше, большой беды не вижу; равно как и в удалении евреев из сферы права»*. И в то же время в письме Альберту Эйнштейну от 15 мая 1933 года автор «Иосифа и его братьев» рассуждает о своем изгнании: *«Заставить меня играть эту роль могут только, действительно, необычные зло и ложь, и, по моему глубокому убеждению, вся эта «немецкая революция» как раз и является такими ложью и злом»*²⁵.

О сути нацистского режима Томас Манн не менее определенно высказался через несколько месяцев в письме своему близкому другу историку литературы Эрнсту Бертраму (Ernst Bertram), ставшему убежденным сторонником новой власти: *«Посмотрим, – написал я Вам ровно год и один день назад, и Вы ответили с упрямством:*

24 Committee for Jewish and Christian Refugees.

25 Mann Thomas. Briefe 1889–1936, hrsg. von Erika Mann, Frankfurt a. M. 1961, S. 332.

«Непременно посмотрим!» Начали ли Вы уже смотреть? Нет, кровавыми руками Вам закрывают глаза, и Вы миритесь с этой «защитой». Немецкие интеллектуалы – простите мне этот объективный общий термин – будут самыми последними, кто начнет смотреть, так как они слишком глубоко, слишком мерзко оказались втянутыми и скомпрометированными».

Публично высказываться против режима Томас Манн воздерживался, опасаясь за судьбу своих книг, пока еще широко издававшихся в Германии. Власти тоже до поры не вносили нобелевского лауреата в число своих заклятых врагов: мы уже видели, что в списках книг, подлежащих сожжению 10 мая 1933 года, работ Томаса не было. Нацисты все еще надеялись видеть знаменитого писателя в своих союзниках.

А писатель в душе был не так уж далек от этого, как видно по его дневнику. Запись от 15 июля 1934 года: *«Думал о нелепце того, что те самые евреи, которых в Германии лишают прав и изгоняют, принимают сильнейшее участие в антилиберальном движении и могут в своей значительной части рассматриваться как его зачинатели»*²⁶.

В качестве примера Томас Манн приводит поэта Карла Вольфскеля (Karl Wolfskehl), члена одного эзотерического литературного и интеллектуального кружка, возникшего вокруг поэта Штефана Георге, и особенно мюнхенского эксцентрика Оскара Гольдберга (Oskar Goldberg). Непредвзятый читатель отметит «объективность» автора, не нашедшего для этих маргиналов других выражений, кроме «сильнейшего участия», «значительной части» и «зачинателей антилиберального движения». Но Волшебник и на этом не останавливается. Далее он пишет: *«Вообще я полагаю, что многие евреи (в Германии) в глубине души согласны с их новой ролью гостей, которые ни в чем не участвуют, освобождены от налогов и которых только терпят хозяева»*²⁷.

Подобная раздвоенность сознания Томаса Манна, характерная и для других немецких интеллектуалов, объясняет ту легкость, с которой евреи были изгнаны из культурной жизни страны. Кроме отдельных мужественных личностей, типа Рикарды Хух, не нашлось

26 Там же, стр. 367.

27 Mann Thomas, Tagebücher 1933–1934, Frankfurt a. M. 1977, стр. 473.

никакой общественной силы, противостоящей произволу нацистов.

Отношение Томаса Манна к гитлеровскому режиму определилось окончательно далеко не сразу. Толчком к этому послужили следующие события, связанные с издательским домом Самуэля Фишера, в котором выходили все труды писателя.

Когда в 1935 году глава издательства Самуэль Фишер умер, его наследник – приемный сын Готфрид Берман – предпринял шаги, чтобы хотя бы часть фирмы вывести из Третьего Рейха, где евреям уже запрещалось иметь свое дело. Старый издательский дом «С. Фишер» должен был остаться в Германии в арийских руках, а новое издательство «Берман-Фишер», специализирующееся на современной немецкой эмигрантской литературе, должно было открыться в Цюрихе. Сотрудничать с новым издательством согласились самые выдающиеся немецкие писатели того времени, оказавшиеся в изгнании: Манн, Дёблин, Хофманшталь, Вассерман, Шнитцлер...

Однако молодой предприниматель не учел враждебность своих коллег к новому конкуренту. Большинство швейцарских издателей выступили против начинания Бермана, а Эдуард Корроди (Eduard Korrodi), литературный редактор известной «Новой цюрихской газеты», высказался в январе 1936 года откровенно и цинично: *«Единственная немецкая литература, которая эмигрировала, была еврейской»*. Берману-Фишеру не оставалось ничего другого, как уехать из Швейцарии в Вену.

На вызов Корроди ответил Томас Манн. Его открытое письмо в газету было первым публичным выражением его мнения после января 1933 года. И Волшебник, наконец, сказал то, что от него давно ждали поклонники и ценители его таланта.

Прежде всего, Манн указал Корроди на очевидный факт: среди немецких писателей в изгнании можно было найти как евреев, так и чистокровных немцев. Но не это было главным. Манн атакует тех, кто остался в Германии: *«Чтобы быть немцем, одной национальности мало. С духовной точки зрения немецкая ненависть к евреям или то, что насаждают немецкие власти, относится совсем не к евреям или не только к ним одним. Она относится ко всей Европе и к самому высокому понятию «германство»; она относится, как нетрудно показать, к христианско-античному фундаменту европейской цивилизации: она есть попытка порвать*

цивилизаторские связи, что угрожает страшным отчуждением страны Гёте от остального мира»²⁸.

Томас Манн, наконец, бросил перчатку гитлеровскому режиму. И власти поняли вызов писателя с полуслова. Через несколько месяцев все члены семьи Маннов, которых до этого еще не лишили немецкого гражданства, перестали считаться гражданами Германии. Декан философского факультета Боннского университета сообщил Томасу Манну 19 декабря 1936 года, что его имя вычеркнуто из списка почетных докторов университета. А у стариков Прингсхаймов власти Мюнхена отобрали их заграничные паспорта, лишив возможности встречаться с детьми и внуками. Такова была месть нацистов за то, что писатель стал в итоге антифашистом.

Но чтобы окончательно и безоговорочно поднять флаг борьбы с гитлеризмом, самому нобелевскому лауреату по литературе, одному из самых глубоких мыслителей Европы, потребовалось долгие три года. Столь велико было смятение умов интеллигенции, неожиданно столкнувшейся с гитлеровской диктатурой.

«Возвышенное слияние немецкого духа с еврейским»

Тема «Томас Манн и евреи» сложна и многогранна. Некоторые из этих граней отчетливо проступают в истории взаимоотношений писателя и его архивариуса еврейки Иды Герц (Ida Herz). Они случайно встретились в трамвае в феврале 1924 года (видно, у Манна на роду написано именно в трамвае встречать женщин, которые посвятят ему в дальнейшем всю свою жизнь: жену Катю он тоже впервые увидел в трамвае, когда она выпрыгнула на ходу, спасаясь от контролера). Ида первая заговорила со знаменитым автором, в котором души не чаяла, и он предложил ей привести в порядок его огромную библиотеку. Фройлен Герц стала библиотекарем и архивариусом мастера.

Со встречи в трамвае началась многолетняя дружба, связывавшая Иду Герц и семью Маннов. Этой дружбе многим обязаны почитатели автора «Буденброков». Ида Герц собирала все, что относилось к жизни и творчеству ее кумира, и пополняла на протя-

28 Mann Thomas. Briefe (см. примечание 25), стр. 413.

жени десятилетий сначала в Германии, потом в Лондоне, куда она эмигрировала, ставший грандиозным архив Манна. После ее смерти архив обосновался в швейцарском Цюрихе и стал незаменимой поддержкой всех исследователей творчества писателя.

Из отрывочных пометок в дневнике Манна («за столом, к сожалению, эта Герц») и по тем литературным образам в романе «Доктор Фаустус», для которых Ида послужила прототипом, можно судить об отношении писателя к своему преданному архивариусу. Это отношение было покровительственным и немного снисходительным с отчетливыми антисемитскими нотками, как отмечает исследователь творчества Манна Фридрих Крёлль²⁹.

Ида Герц боготворила Томаса Манна, несмотря на все обиды и унижения, которые ей приходилось от него терпеть. Когда она еще в Германии прочитала первую часть романа об Иосифе и его братьях, то написала письмо автору, уже находившемуся в изгнании: «Я бы хотела Вам в этой связи сказать, что, на мой взгляд, трогает нас, немецких евреев, в этой работе: это для нас возрождение возвышенного слияния немецкого духа с еврейским».

Трагично выглядит дата этого письма: 5 июля 1933 года. Зловещее колесо Холокоста уже покатило по дорогам Германии, собираясь уничтожить еврейский дух и еврейские души во всей Европе. Но в строчках Иды Герц живет надежда на «возвышенное слияние».

Ида Герц скончалась в 1984 году в девяностолетнем возрасте. Она лучше других знала каждую пометку в дневниках Томаса Манна, читала обидные замечания о себе, в том числе, и с антисемитским подтекстом. Но до конца своих дней она рассматривала свои отношения с мастером как дружбу.

Фридрих Крёлль объясняет это выработанной многими поколениями евреев в диаспоре способностью переносить унижения.

В 1981 году сын Томаса Манна Голо написал письмо известному литературному критику и страстному почитателю творчества «волшебника из Любека» Марселю Райх-Раницки. Голо Манн отвечал на вопрос критика об отце: «...он был рожден в провинции, и никогда полностью не избавился от некоторой провинциальности...»

29 Kröll Friedhelm: Die Archivarin des Zauberers. Ida Herz und Thomas Mann. Ars vivendi Verlag, Caldozburg 2001.

Знатные люди в маленьком городе... Отсюда происходит и его антисемитизм, от которого он никогда полностью не отошел (и его брат тоже)».

Вряд ли кто-либо знал и чувствовал Томаса Манна лучше, чем его сын. Однако это только часть правды.

Всю жизнь противоречивое отношение писателя к евреям колебалось между двумя полюсами: от отчуждения («я, рожденный немцем, не такой, как вы») до слияния («я такой же изгой, как евреи»). Отбросить одну краску в этой картине так же невозможно, как оторвать в магните северный полюс от южного или оставить земной шар только с одним полярным кругом.

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА

* * *

В преддверье лета, в предвкушении сирени,
В высоких сумерках, где молча гибнут тени,
Где зверь ночной стряхнуть не в силах лени –
Полуденной – метелкою хвоста;

Где в чащах спит голодный дух охоты,
Где так опасны рек водовороты
И дробная кукушкина икота
Отсчитывает годы неспроста, –

Там воздух над деревьями слоится,
Там всё острее проступают лица
Всех тех, кто так мучительно любим.
Что жизнь без них? Тоскливый звук, не боле.
Страсть без любви. И поцелуй без боли.
И без горючих слез родимый дым.
И поводырь – бескрылый Серафим.

* * *

Это ночь со мною дышит рядом –
Спутница моя и мой конвой.
Это дождь шопеновским каскадом
По упругой хлещет мостовой.

Это жизнь меж сполохов и вспышек,
Разрывая кольца наших рук,
Выше, выше пограничных вышек
Чертит свой неотвратимый круг.

Это время помечает жёстко
Каждый поворот и переход.

Я стою одна на перекрестке.
Красный свет в глаза нещадно бьёт.
Не хочу туда, где вечный морок,
Где срослись до крови страсть и страх.
Не хочу открытий, от которых
Горечь в сердце, слезы на губах.

* * *

А.Т.

По московским бульварам, где млеют от зноя пруды,
Вы проходите так, словно дарите Богу следы.

И за Вами струятся в раскрыльях прозрачных одежд
Ваши дивные ангелы – стражи страстей и надежд.

А у вас на душе – за ожогом дымится ожог:
Разве можно спастись от стихов, от любви, от тревог?

Но когда Вы проходите в сумерках возле прудов,
Каждый ангел коснется Вас тихим дыханьем готов.

Запечатан улыбкой отчаянья Вашего крик.
Он однажды взорвет Вас на тыщу осколков своих.

Но пока – по бульварам и если – у самой воды,
Каждый ангел у Вас забирает частицу беды,

Оставляя Вам нежность – ее неоплатна цена.
Паутинками трещин впечатана в сердце она.

И пока она дышит, шаги Ваши будут тверды.
Отраженьями ангелов светятся ночью пруды.

* * *

Нет, еще не время ледоставу.
Не стихает листьев кутерьма.

Снег на Заилийский Алатау
Вечность намела, а не зима.
Я сюда вернулась, мне не странно
Слышать слов гортанных ворожбу.
Легкими страницами Корана
Можно пролистать мою судьбу.

У меня, иных сокровищ кроме,
По камче есть право на коня.
Мой сородич по мятежной крови,
Разве мы с тобою не родня?

Разве плач домбры и звон железа
Не свели нас тыщу лет назад?
Узкие, азийского разреза,
Мне знаком ваш неотступный взгляд.

Нам ли множить ссоры и обиды,
Если сутью связаны одной
Накрепко, издревле, не для вида –
Христианский крест, звезда Давида,
Мусульманский месяц золотой.

* * *

Уходит мой поезд в тупик, и захлопнулись двери.
Сигнальная кнопка мигает, на стыках дрожа.
И в гулкой утробе ползущего медленно зверя
Не сыщется жертв, кроме этих – меня и бомжа.

Он зычно храпит, подложив под висок капелюху.
Вагонная лавка ему – что родная кровать.
«Судьба!» – бормочу, и состав отзывается глухо.
И створки дверные мне сил не хватает раззять.

И едем мы с ним неизвестно куда и насколько.
И главное, здесь никому не хватиться меня.

И разве что я не отмечена синей наколкой,
А так – мы попугачики, значит, почти что родня.

Мы едем по миру, где спуганы вёсны и зимы,
Где сходятся грех, покаянье, молчанье и крик.
Где все мы равны изначально и все заменимы,
И каждый не знает, когда его поезд в тупик.

А поезд ползет, синеватые рельсы утюжа.
И кажется – можно в любую минуту сойти.
Нам были даны при рождении чистые души.
Спит бомж в электричке. Храни его, Боже, в пути.

* * *

Как камешек на дно реки –
Была и нет, прости! –
Упасть, как выпасть из руки
Того, в чьей я горсти.

И снова вынырнуть – жива! –
На вожделенный свет.
И душу вывернуть в слова,
Нежней которых нет.

И знать, что лба не остудить,
Не смыть с него печать.
И есть, за что меня судить,
И есть, за что прощать.

ДЕНИС ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ

ШУТКА

Той занимавшейся августовской ночью сыро бросало влажным ветром в лицо после прошедшего вечером дождя; густо пахло намокшей, потяжелевшей зеленью и прибитой, иссохшейся за день дорожной пылью. Изодранно-черный, в лиловых пятнах кучевых облаков, небесный свод остро сверкал призрачно-ледяной россыпью звезд; воздух наполнял грудь пьянящим ароматом уходящего лета, оведал своей неизлечимой грустью, и оттого еще крепче и дружнее казалась наша компания.

Братски обнявшись за плечи, разгоряченные спиртным, мы шли по почти пустынной улице, твердо, без разбора шагая вперед и совершенно не обращая внимания на расплесканные местами блюдечки лужиц и крайне редких прохожих. Было нас четверо, все примерно одного беззаботно-безрассудного молодого возраста, дружные с детства и понимавшие друг друга с полуслова.

Праздник справляли особый: гуляли первый день последнего месяца «свободы» Витьки Коршунова. Первым из нас он решился на важный шаг и подал заявление в загс. Избранница его была нам всем отлично знакома. Чудесное, милое создание с огромными, изумрудной глубины, глазами, всегда чуточку удивленно взиравшими на окружающий мир; бархатисто-нежной кожей, густо оттененной завитыми, пружинистыми локонами угольной черноты, спускавшимися по вискам до мягкого подбородка; точеные ручки-ножки... И совершенно иной был Витька, словно слепленный из полузастывших кусков окаменелой глины руками бездарного скульптора. Нередко меня одолевали бередившие душу сравнения, и я все никак не мог понять, что общего могло быть у него с Юлей Ростовцевой? Что могло объединять людей, которым даже не о чем было поговорить? Отчего так нежна была она с ним?..

Гуляли шумно, с вечера, сперва до сумеречной, сизо-сиреновой густоты, затем дальше, вгрызаясь в ночь, и Витька все никак не мог остановиться. Он щедро сыпал деньгами, как ни висли мы у

него на руках. Но удержать его было непросто.

– У меня сегодня праздник, – никого не стесняясь, кричал он, бешено поводя глазами, и, зайдя в первый попавшийся магазин, обаятельно докупал водки.

Пил он жадно и много, прямо на лавочке в городском парке, как это многие делали: не таясь, из одноразовых пластиковых стаканчиков и почти не закусывая. Совсем не так, как мы привыкли его видеть, и уже в этом угадывалась часть его новой, будущей супружеской жизни, пугая своей неизбежностью, неотвратимостью того волнующего и дразнящего Витьку древнего порядка, к которому он будто нарочно начинал причучать себя с той минуты. И сердце невольно сжималось за будущее Юли...

Часам к трем Витька едва держался на ногах. Насилу удалось уговорить его отправиться домой. Обнявшись, вышагивали мы по Советской, мимо отделения милиции, но на шум никто не вышел и не навел порядка. Благополучно шли мы дальше и вскоре явились к Витьке.

В окнах дома угрюмо стыл сумрак, скупо по стеклу размытый серебряным мерцанием, сочившимся с непостижимых звездных высот; перед тем как войти, заметил я, как вздрогнуло и шевельнулось в одном из окон смазанное, серое во тьме, крыло грубой холщевой шторки. Видно, его мать еще не спала, дожидалась, хотя к нам так и не вышла.

Витька провел нас в залитую болезненно-мутным светом кухню, рассадил по местам на старые, шатающиеся табуретки за серый, замызганный застарелыми жирными пятнами стол. Жили они небогато, вдвоем с матерью.

– За окончание вольной жизни, – довольно провозгласил Витька, поднимая стаканчик, до половины наполненный водкой.

Приятели дружно поддержали его, смеялись надо мной. Я уже давно с ними не пил, все отказываясь, и откровенно не разделял грубого веселья. Не уходил лишь потому, что все тревожнее становилось мне от поведения товарищей, и будто чувствовал: наступит гнусный момент, когда надо будет их от чего-то удержать. В густом табачном дыму плавилась их горячие лица, тускло желтели воспаленные глаза и во хмелю все требовали водки.

Незаметно пролетели и четыре жаркие до оголтелого спора партии в домино, и водка кончилась, и деньги... Теперь просто ку-

рили, играли в карты и все говорили, спорили о женском теле и об отношениях.

– Мужик имеет полное право изменять жене, – раскатисто, упираясь руками в стол, уверял окончательно захмелевший Витька, обводя нас тяжелым взглядом. – Потому что он по природе охотник и продолжатель рода. А баба, она и есть баба. Ее дело любить мужа да за детьми смотреть!

– А ты уверен, что Юлька тебя любит?!

– А то! Конечно, любит, дура. Она ж мне предана, как собака. Не веришь? А ну, дай телефон!

– Зачем?

– Докажу... Если ждет моего звонка, значит, любит. Хотя, нет... – свел он на переносице густые белесые брови и отдал телефонную трубку одному из приятелей. – Звони ты. Сейчас мы над ней подшутим, а заодно и проверим, любит или нет. Звони и скажи, что я умер. Мол, погиб в драке, подрезали меня. Так и говори. Нет, мол, больше твоего Витеньки. А там поглядим, как она себя поведет...

Но приятель остолбенел, беззвучно шевелил губами и не решился набрать номер, пока Витька грозно не прикрикнул на него. Напрасно взывал я к их рассудку, молил и заклинал не делать этого, с трудом сдерживая бешено вдруг рванувшее сердце... Шутка состоялась: Юлю разбудили и все передали, как того и требовал ее, трясшийся рядом в мелком дребезжащем смехе, жених. Сцена была омерзительна, и, больше не сдерживая себя, отправился я домой.

На следующий день, когда солнце уже высоко взобралось в небесной крутизне и улицы припекало, как в хорошей печи, зашел я к Витьке. Он, мрачный с похмелья, с растрепанной буйной головой, хмуро сидел в кухне в одном исподнем, временами отпивая из большой кружки холодного хлебного квасу. Предложил и мне, но от угощения я отказался.

– Пройдешься со мной? – попросил он. – Мне к Юльке надо, а одному стыдно...

Он наскоро собрался, о чем-то вяло ругнулся с матерью, гремевшей эмалированным тазом во дворе, где она развешивала с утра выстиранное белье, и мы вышли в калитку. От ночной свежести не осталось и следа, жар ломил землю нестерпимый, будто умирающее лето желало отыграться за все те дни, когда обкрадывало солнцем.

Идти было недалеко, всего два квартала, до заводского микрорайона. Шли не спеша, и ближе к ее дому как будто еще замедлили шаг. Витька заметно переживал и волновался; наверняка, корил себя в душе за вчерашнее; но все же это был уже иной Витька взамен безвозвратно утраченного, шедший к той жизни, в которой все меньше оставалось места для нас, его друзей. Понимая это, мы промолчали всю дорогу.

У двери Юлиной квартиры он немного замялся, нерешительно, словно ища поддержки, оглянулся на меня, и только затем надавил на дверной звонок. Дверь распахнулась почти тут же, каким-то нервным рывком. На пороге, в бледно-желтом мареве бьющей ей в спину из прихожей бра выросла щуплая фигура Люды, младшей сестры Юли. Она прикрывалась косой тенью, кутавшей ее с лестничной площадки, и плохо была видна нам, но проступавший в правильном прямоугольнике проема ее силуэт все же неприятно поразил необычно острой худобой и будто бы уменьшившимся ростом. Увидев Витьку, она выступила на шаг вперед, ровно настолько, чтобы нам открылось ее иссиня-бледное, заострившееся лицо с впавшими глазницами, большими зелено-темными полукруглыми прогалинами под ними и туго сведенным в узкую незримую полоску ртом. На Витьку она смотрела долго, не моргая; так, будто бы увидела его впервые или же, напротив, после долгой разлуки, не узнавая; потом охнула, вмиг опала и легко соскользнула по дверному косяку на пол, на изменившие ноги, жалобно издавая протяжные, захлебывающиеся стоны.

Оттолкнув Витьку в сторону, я вбежал в квартиру. В прихожей напугало меня завешенное черным зеркало, а дальше, в комнате, встретили глаза...

Мать, отец, какие-то незнакомые люди, неприметная старушка в темном повязанном на голову платке, заунывно читающая что-то в углу – все смотрели на меня.

А на длинном столе, посреди комнаты, уже убранная, величаво и спокойно запрокинув голову, под белоснежным покрывалом лежала Юля...

Позже я узнал, что после звонка моего приятеля она бросилась из окна. И никогда себе этого не простил.

ГУРАМ МЕГРЕШВИЛИ

ПИСАТЕЛЬ

I этап: как все начиналось.

Как и большинство молодых представителей моего поколения, в результате ничегонеделанья, игры в карты, домино и нарды, курения травки и безоглядных пьянок, я впал в глубочайшую депрессию. В моем словарном запасе с возрастающей частотой стали появляться такие фразы, как : все, я завис... весь кончился... ничего не колышет... я уже летаю... все до фени... и т.д. К тому же из на удивление покладистого мальчика я превратился в конфликтную, злызычную и безжалостную особу.

Проблемы возникли у меня и во взаимоотношениях с родителями (ненавижу: пап, дай два лари), я стал на дух не переносить родственников (пошли они..., какой от них прок?!), возненавидел соседей (и у этого лоха такая машина?!) и едва не стал полицейским.

Нервы у меня разошлись вовсю. Ни работы, ни перспективы найти работу, ни перспективы появления перспективы найти работу. Короче, единственная мечта, что у меня осталась, была – поскорей бы состариться и умереть. И тут мне в руки попала американская книга мудрых мыслей. В ней было написано...

II этап: в американской книге мудрых мыслей написано: «Если не знаешь, что делать – женись!»

Честно говоря, эта мысль произвела на меня такое впечатление, что я серьезно стал подумывать о женитьбе (к тому же я пришел к выводу, что это – вещь выгодная, поскольку приобретаешь постоянного сексуального партнера). Я срочно влюбился и через полтора месяца мы поженились. Празднование и медовый месяц пропускаю и перехожу к следующему этапу.

III этап: самая социальная история

Мы с Тико обычно и так просыпаемся поздно, а в тот день вообще – открыли глаза в шесть часов вечера.

– Эй, встань, помоги ей! Безобразие, что за ленивая жена мне досталась!

– Помолчал бы, Золодув!

– Золодув или нет, но при возне в золе рождаются гениальные идеи.

– Ох, ох, ох! Ну и чокнутый же хвастун ты у меня! Чокнутый, чокнутый!

– Не заигрывай и вставай, говорю, имей совесть!

– Ну, еще пять минуточек, а?!

– О-о, вставай, а то сейчас выпихну из постели.

Недовольно бормоча, Тико выскользнула из-под одеяла и начала одеваться. Одеваться она умеет очень зазывно, и:

– Иди ко мне, котеночек мой!

– Пошел ты... Сначала прогнал, а теперь?

– Ну иди же!

– Нет!

– Иди сюда. Если встану, хуже будет!

– Да ну?!

Я вскочил и схватил ее в объятия. Она ускользнула и запрыгнула на кровать. Я бросился за ней, и мы начали гоняться по комнате. Тико визжала и удирала от меня. Я кидал в нее то подушки, то одежду, и от этого она веселилась еще больше. На шум в комнату заглянула моя мама и, поняв в чем дело, вышла со смехом – сумасшедшие, да и только!

Тико смутилась – хватит, стыдно. Я воспользовался моментом и крепко обнял ее. В ответ она повисла у меня на шее, но потом вдруг засмеялась и выскользнула. Я исхитрился дотянуться до нее, и ее лифчик остался у меня в руках.

– Ой!

– Эй, что это?

– Ты что, зверь, что ли?!

– Я что, нарочно, по-твоему?!

– Покажи, совсем испортил? Эх, теперь и не зачинить!

– Не зачинишь и не надо, мать его..., выбросим!

– Ну да, а что я сегодня к Лии надену?

– А другого нет?

– Не знаешь, что нет?

– Тогда иди так.

- Так – как? Без лифчика?
 - Ну и что?
 - Ты что, совсем...?
 - Возьми у моей мамы деньги и купи новый.
 - О-о, как я ей об этом скажу, да и купить не успею.
 - Да что там, сбегаетшь и купишь.
 - Я не могу просить денег у твоей мамы.
 - ...
 - Сам скажи!
 - А что я ей скажу?
 - Ну скажи ты!
 - Что сказать, «дай деньги Тико на лифчик»?
 - Тогда у отца возьми.
 - Когда он придет!
 - Тогда займи у кого-нибудь.. Не то, что мне делать, Дато, не пойти?
 - Кто этот кто-нибудь?
 - Возьми у Серго.
 - Я и так ему тридцать лари должен, не могу еще попросить.
 - ...
 - (Пауза)
 - А если ты своей маме позвонишь?
 - Оо, я не могу ей сказать, что мне деньги нужны.
 - Ну, а что делать?
- Тико не ответила, вышла из комнаты и принялась за стирку, а я понял, что настало время искать работу, и...

IV этап: продолжение самой социальной истории

В газете бесплатных объявлений я опубликовал такой текст:
«Молодой, талантливый писатель ищет работу, с соответствующей зарплатой. Т: 722514.»

Где-то на третий день мне позвонила одна молодая дама и предложила достаточно высоко оплачиваемую работу. Мы договорились о встрече, и я пошел.

Дама была очень мила... Обещала мне славу и горы денег, убедила меня занять деньги, приобрести товар на пятьдесят лари, поручила мне его реализовать и вдобавок обещала проценты, если

приведу к ней таких же, как я, желающих.

Товар этот я с трудом всучил родственникам и изменил текст объявления:

«Молодой, талантливый и симпатичный писатель ищет работу, с сетевым маркетингом не обращаться. Т: 722514, Дато».

Обратилась ко мне дама, которой надо было привести в порядок документы и личные записи покойного супруга.

И за какие-то семь часов я заработал тридцать лари, и Тико купила, наконец, этот треклятый лифчик... но потом целую неделю никто не звонил, и я дал объявление уже в бегущей строке (здесь слово стоит лари):

«Писатель ищет работу! Т: 722514. Дато».

Вначале позвонили какие-то девчонки, ого-го, писатель, зорали и отключились, потом – какой-то (оказывается, известный) пожилой писатель и выругал меня – как ты смеешь позорить наше призвание и профессию. Так что, когда позвонил какой-то бизнесмен и предложил мне в долг написать его биографию, я окончательно махнул рукой. И тут появился Этот, четвертый.

У этап: как появился Этот, четвертый.

– Алло, слушаю!

– Будьте добры, господина Давида!

– Я слушаю.

– Здравствуйте, я звоню по поводу Вашего объявления.

– Да-да.

– Я хочу знать, какую работу Вы можете выполнить?

– Видите ли, вообще-то я писатель, но справлюсь с любой бумажной работой.

– Только с бумажной?

– Ну-у... в зависимости от того, что Вам конкретно нужно... Я могу делать и кое-что другое, например...

– Тогда знаете, что... может, завтра в двенадцать часов встретимся у метро Гоциридзе и все обговорим, если Вас устраивает, разумеется?

– Да-да, нет проблем, я буду.

– Хорошо.

– А как я Вас узнаю?

- Ха, я сам Вас узнаю, ведь вас, писателей сразу видать!
Я рассмеялся (с гордостью) – Нет, правда, как Вас узнать?
– Кто там будет самый тяжеловесный – это я.

На следующий день с половины двенадцатого я стоял у входа в метро. «Тяжеловес», конечно, меня не узнал, и я сам подошел к нему:

– Простите, вчера вечером по телефону мы не с Вами говорили... ну... по поводу объявления?

– А-а, ты Дато?

– Да. Простите, Ваше имя?

– Вахтанг, Вахо.

Мы сели в его машину и поднялись на второе плато Нуцубидзе.

Квартира Вахтанга была обустроена со вкусом. Чувствовалось, что недостатка в деньгах он не испытывает.

– Дато, честно говоря, я хочу сначала присмотреться, подойдешь ли ты. Поэтому у меня такое предложение: два-три дня походи сюда, я посмотрю, дам тебе элементарные поручения, и если понравиться – я тебя найму.

– И все же, что я должен делать?

– Пока ничего. Что касается этих двух дней, возьми эти сто лари. Это аванс, вернее, зарплата за эти два дня.

– А если я Вам не понравлюсь?

– Если не понравишься... Ха, найду другого писателя, их же пруд пруди! Да. и впрямь принеси мне что-нибудь свое, посмотрю, что ты там пишешь!

Я отнес ему кое-что; он прочел и похвалил:

– Молодец, сгодишься!

Эти сто лари, что я принес домой, были восприняты, как божья благодать. Мы высказали тысячу предположений, что может входить в мои обязанности.

– Может, он подаст тебе какие-нибудь идеи, чтобы ты написал от его имени, – сказал отец.

– Мне кажется, он меценат, но не осмеливается прямо предложить тебе помощь, а так... – сказала мама.

– Да кем бы он ни был! Сто лари за два дня!.. О чем ты, Дато! Считаю, наша жизнь наладилась! – обняла меня Тико.

– Само собой! Да хоть в кирпичный цех меня работать пош-

лет!.. Пусть столько платит, и если хочет, хоть плеткой меня хлещет!– согласился я и начал мечтать:

1 мечта: если так будет продолжаться, я расплачусь со всеми долгами.

2 мечта: помещу Тико в самый хороший роддом, обустрою детскую.

3 мечта: этим летом поедem на море, оттуда – в горы, потом еще куда-нибудь.

4 мечта: со временем придумаю еще что-нибудь!

Эти два дня я ничего такого не делал, просто отвечал по телефону и сам напросился пойти на рынок. Зато на третий день он угостил меня хорошим вином и объяснил, что я должен буду делать. В мои обязанности будет входить:

а. Каждый день в пять часов приходите к Вахтангу.

б. Обнажаться до пояса.

в. Ложиться на тахту.

И Вахтанг будет стегать меня специально изготовленной из медвежьей кожи плеткой.

За каждый удар мне полагается десять лари.

– Ну и юмор у Вас! Можно подумать, Вы серьезно!– заговорщически улыбнулся я.

– А кто сказал, что я шучу?– он тоже улыбнулся.

(Разумеется, здесь пауза, поскольку момент кульминационный!)

Я захохотал, он вторил мне.

– Ну и шутник Вы! Надо же придумать такое, ха-ха-ха!

– Да уж! Ну, ты думай, по-моему, хи-хи, предложение неплохое. Ударов десять в день выдержишь!– он смеялся и не сводил с меня глаз.

Внезапно я прекратил смех.

– Вы что, серьезно?

– А что несерьезного ты во мне заметил?

Я молча встал и направился к двери. Потом внезапно повернулся и стал орать. Он тихо, не издавая ни звука, слушал меня. От этого я еще больше растерялся и замолчал. Развернулся и ушел.

Дома меня выслушали молча. Потом каждый высказал свое мнение:

Мама:

– Даа, не знаю, он больной какой-то... И у каких людей деньги, а?! За один удар десять лари! Деньги-то хорошие, да тебя жалко, исполосует он тебе спину в клочья, лучше что-нибудь другое поискать. Да и эти сто лари ведь у тебя остались!

Тико:

– И отчего это всякая дрянь на тебя выходит, а! Ты должен был его вздуть хорошенько, знал бы он тогда! И зачем нам такие деньги, если ты заболеешь!.. Ни роддома, ни моря, вообще ничего не хочу!

Отец:

– Вот, блин...! Во времена коммунистов этого подонка засунули бы, куда следует, а сейчас... Дело-то в чем, знаете? Этот негодяй нам не оставляет выбора; вынуждает... Ты понимаешь?! Он ведь специально вначале эти сто лари дал, чтобы... Блин!.. Однако чем на толкучке нервы трепать, пойду я сам к этому подлюге, и пусть лупит, сколько выдержу. Ну, как в царские времена! Этим он не меня, а сам себя унижит, если хотите знать!

Я:

– Я не понимаю, почему ты должен пойти? Если кто и пойдет, так это я ... а я не пойду, этого еще не хватало, чтобы какой-то урод меня бил... да пошел он!

Но в интимные минуты жена посетовала: А как хорошо было бы, если бы он что-нибудь другое тебе предложил, мы бы на море поехали!

И я решил: К черту, пойду и пусть бьет меня. Правда, если...?! В принципе, он и фамилии-то моей не знает, да и не узнает. Ведь скольких писателей зовут Дато...! Вот поднакоплю немного денег, выматюкаю его хорошенько, отхлещу его же плеткой и уйду!

(На этом эта история могла бы и закончиться, но она не кончается!)

VI этап: просто этап

На следующий день я посетил Вахтанга; при виде меня он иронически улыбнулся, и я едва не повернул обратно, но все же вошел.

Пока я раздевался, он наелся и подошел ко мне, срыгивая.

– Сколько выдержишь?

– Откуда мне знать?! Скажу, когда не смогу больше.

До десятого раза ударял очень больно. Потом устал, что ли, но так больно уже не было. На сорок пятом переспросил: Не хватит?

– Нет!

Ударил еще пять раз и остановился – не могу больше. Потом достал кошелек и отсчитал деньги. За полчаса я заработал пятьсот лари – это трудно было себе представить!

– Вообще-то, за столько ударов мне полагается скидка! – хохотал Вахо. Насупившись, я не отвечал ему.

– Эй, парень, прекрати! Ты чего бычишься? Не хочешь – так писатели сами просятся! Скажи, другого возьму.

– Да я не бычусь! Больно просто, не железный же я!

– Меньше бы дал себя ударить – и все; кстати, надо условиться вот о чем: если хоть один день пропустишь, потом целый месяц будешь работать бесплатно, или я другого найду.

– Мало ли что может случиться!

– А я знать ничего не хочу! Нет – и точка! Пропускать не должен. Устраивает – устраивает, нет – всего хорошего!

– Ладно, ладно!

Дома меня встретили так, как будто я вернулся с поля боя. При виде же такого количества денег все чуть с ума не посходили.

– Давай, сынок, и я пойду! Пусть этот Вахо нас колотит! – сказал отец.

Мама стала причитать и лить слезы.

Тико молчала.

– Если так продолжу, и машину куплю, и квартиру! – подумал я и мечтательно вздохнул.

Потом у меня выходило где-то двадцать-двадцать пять ударов в день. Вахо был доволен, мы тоже. Как-то раз к нам заявился наш родственник и после долгих уверток попросил меня вот о чем:

– Сынок, может, и моего Тамази устроишь на такую работу? Бедный мальчик от переживаний уже сам не свой. Скажи своему хозяину, может, и его возьмет? Так-то он худенький, да обещает, что выдержит!.. Благослови тебя господь, может, сможешь нам стать на ноги? На тебя надежда, ты же знаешь, мы в долгу не останемся!

Я, конечно, настрого запретил своим говорить, как я зарабатываю деньги, Тамази же на меня обиделся.

Между тем прошло более двух недель. Тико была на седьмом месяце, и я с таким нетерпением ждал появления своей кровиночки,

что плевал на то, что уже не мог ложиться на спину. Деньги на машину я набрал, вот-вот должен был купить, но колебался, не лучше ли добрать еще и купить собственную квартиру. Но неожиданно мои раны распухли, нагноились и стали нестерпимо болеть. Я уже не мог выносить более пяти ударов. Вахо был недоволен и пригрозил, что выгонит.

– А если я временно вместо себя кого-нибудь приведу?

– Нет. Или ты будешь, или я сам найду другого.

– Господин Вахтанг, я не могу больше... Если не подлечусь, может так осложниться, что у меня белокровие разовьется.

– А мне что за дело? Мы же договорились, что ты ни одного дня не пропустишь?! Мне эти удары нужны комплексно, не понимаешь?! Что я, садист какой, что ли?!

Дома:

– Я убью этого сукина сына! Волочешь, как он давит на меня?! Знает, что я не могу больше – и давит. Свинья он, это же не человек!

– А если отпуск попросишь?

– Да нет, он и на один день меня непустит.

– Бедняжка ты мой!

– Бросать надо, мочи нет больше, деньги же не все в жизни!

– Может, потерпел бы еще немного, собрали бы на квартиру и...

– Не понимаешь, не могу больше... н е м о г у!..

У Вахтанга:

– Господин Вахо, я больше не смогу к Вам приходиться... не могу больше терпеть... Не то, что мне не хочется приходиться к Вам, но... Вот, смотрите, что делается с моей спиной... вот здесь, правее... А-а, осторожно... да-да... вот здесь!

– И правда – гноится здорово... что поделаешь, придется искать другого... Но ничего... приятно было работать с тобой!

– Спасибо – мне тоже! И еще – у меня есть шанс, что потом вы меня опять примете?.. Нет?..

– Нет, это не в моем стиле! Впрочем, есть один вариант – освободилась другая вакансия, могу перевести тебя туда... Только дол-

жен будешь быть со мной целый день и получишь по двести лари.

– Я согласен...А что за работа?

– Нет, не думаю, чтоб ты согласился... наверное придется подыскать другого...

– Да Вы скажите, может, я согласен?!

– Нет, не думаю.

– О-о, да скажите же!..

– Ты должен будешь держать, когда я мочусь.

На меня напал смех... долгий, залиvistый смех... но на этот раз я не стал орать...почему-то мне вспомнился мой еще нерожденный сын, некупленные квартира и машина, отдых на море и в горах... и я придержал язык!..

VII этап:

– Господин Вахтанг иногда такие странные предложения делает, что диву даешься, блин...

ЕЛЕНА МАКСИНА

времена года

моне

день солнечен и сливочен,
так воздух по весне
в линиялом небе вымочен
и выстиран моне,
и сушится ванильное
на улице бельё,
и в лужицу чернильную
глядится вороньё,
а солнце огнестрельное
гуляет по дворам
и красками пастельными
палит по воробьям.

ренуар

как девочки его прозрачны,
так дочери твои светлы.
ещё летает призрак дачный
под мятным пологом ветлы,
и оттеняет зелень клёна
нагую матовость плеча,
и осуждают анемоны
бездонным взглядом палача.
беседка тает в повилিকে,
девичий смех летит гурьбой,
и бант колышется, двуликий -
и розовый, и голубой.

ван гог

этот воздух покорёженный
и колючий стебелёк...
будто баловался ножиком
на последней парте Бог.

будто намертво и заживо
одноухий дирижёр
окунул в минор оранжевый
фиолетовый мажор.

вот и смотрит по-циклопъему
увядающий гибрид,
как на снег ложатся хлопьями
охра, кадмий, лазурит.

малевич

графитное небо, жемчужный квадрат
зажжённого в полночь окна

нас выбрала в спутники влёт, наугад
летящая в холод страна

закон гравитации времени прост
и двойственен, как монохром -

ты чёрная кошка твой снежный хвост
сливается с белым ковром

вращайся по кругу, попробуй поймай
родившийся заново снег

квадратный зима испекла каравай
горелый, как выпавший век

* * *

А через тыщи лет услышишь смех,
 заметишь старшей дочери румянец,
 одной из вероятностных помех
 ты стал, в своей отчизне иностранец.
 Что выбрал ты в горячке на кресте,
 и от какой иной судьбы отрёкся?
 Мир также поклоняется звезде,
 горящей высоко, на дне колодца,
 и также отмечает рождество,
 встречая ветвью пальмовой, еловой,
 в сочельник зажигает божество
 и ловит рыбу в утвари столовой..
 Ты смотришь сверху, снизу, сбоку, из –
 на праздничную пляску светотени,
 и голубем садишься на карниз,
 и просишься ребёнком на колени.
 Ты всюду и во всём, ты – я и он.
 Ты ниточка вселенской паутины,
 и времени тождественный канон
 загадочной улыбки Магдалины.

* * *

и тимофеевки привет,
 и ковыля поклон,
 и чёрной рощи силуэт
 ветрами опалён,
 и расплескавшийся закат
 на блюдечке пруда,
 и огневые облака,
 летящие туда,
 где отрешённый взгляд реки
 встречается с твоим -
 всё попадёт в черновики
 неистошимых зим.

* * *

хрустальный снег, сусальный день, искусны козни декабря,
сбивает утро набекрень, сажает ночь на якоря.
куда ни плюнь – кругом бело, где ни причаль – повсюду тьма,
ты смотришь старое кино, там снова новая зима.
куда бы ни был твой исход, как белый шарик не крути,
зима везде тебя найдёт и за измену отомстит.
под богом или под ножом, отрёкшись или возлюбя,
куда бы ты ни отошёл, иконой смотрит на тебя.

* * *

касание руки,
пунктиром тонкий штрих,
вся ночь – черновики,
соавторство двоих.
отброшенная прядь,
рассыпавшийся жест,
измятая тетрадь,
оконный благовест.
мерцание колен,
сияние плеча,
замедленный рефрен,
вчерашняя свеча.

* * *

купола на ходулях, вековые ветра,
удержусь, упаду ли в опрокинутый рай?
венценосный сан марко, голубей кутерьма,
захмелевшие арки, золотая тюрьма.

адриатика крепко обнимает погост.
в этом городе ветхом, что ни улица – мост,

что ни суша, то площадь, что ни крыша, то склеп,
что ни камень, то мощи, что ни храм, то вертеп.

вырезают гондолы имена по стеклу,
в этом городе полом бьётся эхо разлук.
старый мир умирает у зевак на виду,
проплывая над раем – удержусь, упаду?

* * *

синяя птица в моём окне
в детство берёт разбег,
синяя птица поёт весне
и оживает снег,
танец его – голубая ртуть,
трепетная как смерть,
птичий удел в тишине тонуть,
и задыхаясь, петь.

ЛЮДМИЛА БОБРОВСКАЯ

БРАТЯ КЛЕПИНИНЫ

1. Лёвушка.

Когда бабушка Эсфирь улыбалась, глаза её становились ещё печальнее, чем обычно. В такие моменты она словно бы оправдывалась перед кем-то за эту улыбку. Была она маленькая, тоненькая, хрупкая, и занимала так мало места в пространстве, что я почти буквально понимала слова её старшей сестры и моей «главной» бабушки Евы Самойловны, когда та говорила: «Сегодняшняя Эсфирь – только тень прошлой. Какая она была весёлая, остроумная, дятельная!»

Мне было 8 лет, когда я одна, без родителей, прожила целый год в Москве у матери моего отца и её второго мужа академика Владимира Афанасьевича Обручева (в тот год я считала его своим родным дедушкой). Шёл 1948 год, в стране было голодно и холодно, и они взяли в свой дом самых близких людей: родную сестру дедушки Марию Афанасьевну, которая приехала из Ревеля (Таллина) и Эсфирь Самойловну, о которой я начала рассказывать.

Как-то бабушка Ева объяснила, почему её сестра такая грустная, так много плачет:

– Ты понимаешь, у неё огромное горе. У неё почти в один год умер горячо любимый муж и пропал сын, о котором она ничего не знает. Не знает, жив ли он.

– Как пропал? Его украли разбойники? Цыгане?

– Не знаю, никто не знает. Но ты ни в коем случае никому об этом не рассказывай. Слышишь? Ни в коем случае. Да и Эсфирь не расспрашивай, ей и так тяжело.

Я была послушной девочкой. Не рассказывала и не расспрашивала. Но однажды бабушка Эсфирь заговорила сама. Вот как это было. Она часто раскладывала пасьянс, для чего доставала из выцветшего серо-синего футляра двойную колоду маленьких карт, которые от частого употребления превратились из прямоугольных в овальные. Карты эти походили на свою хозяйку: были такие же хрупкие и почти невесомые. Как-то я присела рядом, и пасьянс в тот раз сошёлся, чего почти никогда не бывало. Бабушка пришла в

большое волнение, но лицо её просветлело, стало почти радостным (она, вероятно, загадала желание).

– Он вернётся, обязательно вернётся!

– Кто вернётся?

– Лёвушка, мой Лёвушка.

– Твой сын? Он, наверное, уже вырос, стал совсем взрослым.

– Так ведь он и был взрослым, когда его забрали.

Она внезапно остановилась, взгляд её стал тревожным.

– Только ты никому об этом не говори. Никому, никогда. Обещаешь?

Я обещала. Вспомнила запрет бабушки Евы, появилось чувство вины.

Но я ничего не понимала. В моём представлении украсть можно было маленького ребёнка. Но как можно было «забрать» взрослого человека? Спрашивать я не решалась, но почувствовала, что здесь кроется какая-то тайна, и тайна опасная. О Лёвушке не говорил никто, о нём все молчали. Даже бабушка Эсфирь не вспоминала всякие милые истории его детства, не рассказывала о его учёбе, о его интересах. Это было противоестественно, бесчеловечно, чего я, конечно, не понимала в свои 8 лет. Однако, страх моих бабушек, что о Лёвушке узнает кто-то посторонний, стал и моим страхом. Начало формироваться советское подсознание.

Кроме пасьянсных карт у бабушки Эсфирь была ещё одна маленькая собственная вещица: швейцарские часы в виде башенки на тоненьких коротеньких ножках. Каждый вечер она их заводила и прятала потом вместе с ключиком в старый ветхий футляр, сквозь стеклянное окошко которого был виден изящный арабский циферблат и лёгкие тоненькие стрелки. Эти часы были бабушкиной гордостью: им было несколько десятков лет, но они ни разу не ломались и показывали совершенно точное время.

Я не могу представить себе бабушку Эсфирь без этих двух футлярчиков. Она обращалась с ними так бережно, словно это были живые существа. Ведь это было всё, что у неё осталось от прошлой жизни, бесконечно счастливой, наполненной и радостной.

Мои бабушки родились в Кишиневе в конце XIX века, и вся их молодость была связана с Одессой и Крымом. Это была очень большая, любящая еврейская семья Фриговых, где Ева Самойлова была старшей дочерью. Совсем юной девушкой бабушка Эсфирь

вышла замуж за русского дворянина и царского офицера Николая Николаевича Клепинина. Он был старше её почти на 20 лет. Для того чтобы им разрешили венчаться, бабушка Эсфирь приняла православие. Моя «главная» бабушка, которая лет на пять раньше сестры тоже венчалась с русским дворянином Петром Семёновичем Бобровским, сделать это отказалась, и в другую веру – лютеранскую – перешёл тогда мой дедушка (он вернулся в православие уже совершенно сознательно при втором своём браке).

В начале XX века христианская вера была для большинства российской интеллигенции, увы, лишь формальным вопросом. Стремление к равенству и свободе, революционная деятельность ценились гораздо выше. Осознали ли они, в какую бездну рабства привела Россию эта борьба, я не знаю. Внутренний мир окружающих меня стариков был для меня за семью печатями. На многие мои вопросы мне не отвечали, любимая присказка была: «ты ещё маленькая, вырастешь, поймёшь». Позже стало: «ты слишком молодая». Но в коммунистическом духе меня не воспитывали, это делала только школа. Никаких официальных портретов дома не висело, были только семейные фотографии. О политике в моём присутствии не говорили никогда. Хорошо помню, что взрослые иногда меняли тему разговора при моём приближении. Меня «оберегали». Сегодня я знаю, что Владимир Афанасьевич, как и его старший сын, были членами кадетской партии до победы большевиков. Думаю, что и он, и мои бабушки отдавали себе полный отчёт, в какой стране они живут. Но откровенные разговоры об этом в конце 40-х начале 50-х годов могли стоить жизни; страх, который стоял за всеми отговорками на мои вопросы, имел серьёзные основания. Единственно, о чём бабушка Эсфирь могла говорить без страха, это была её жизнь с мужем, умершим своей смертью.

Николай Николаевич Клепинин был крупным и очень известным в Крыму почвоведом, краеведом. Выпускник Петербургского университета, он стал профессором Государственного аграрного университета в Симферополе, отдавая все силы изучению почв Крыма. Он входил в состав общества по охране крымской природы, был автором многих книг. Я очень любила рассматривать и хорошо помню его книгу «Крымские леса» с фотографиями и рисунками автора. (Потом эта книга куда-то запропастилась). Он был хорошим художником-любителем и прекрасным фотографом. На стенах

в московской квартире Обручевых висело много его картин, привезённых бабушкой Эсфирь из Симферополя – это были исключительно крымские пейзажи.

Я не знаю, когда Клепинины венчались, но Лёвушка родился в 1910 году и был на 4 года младше моего отца Виктора. Лёвушку любили все, кто его знал, мой папа говорил о нём с нежностью: «Он был таким добрым, любящим, талантливым и таким красивым!»

После окончания школы в Симферополе Лёвушка в течение двух лет пытался поступить в Таврический университет, но туда брали только детей рабочих и крестьян, а он был сыном «служащего» (о дворянских корнях отца нельзя было и заикаться). На третий год он уехал в Москву, где закончил Сельскохозяйственную академию, а потом работал инженером Всесоюзного Научно-исследовательского института механизации. Жил он под Москвой, на станции «Плющево».

В 1936 году в Симферополе умер от рака Николай Николаевич. Перед смертью он благодарил жену за то счастье, которое она ему подарила, и сказал, что умирает спокойно, поручая её их замечательному сыну. Лёвушка был в командировке и не успел добраться до Крыма, опоздав к похоронам отца. Мне рассказывали, что после смерти мужа бабушка Эсфирь буквально жила на кладбище, и родные боялись за её рассудок.

Вскоре Лёвушка забрал её к себе, а через несколько месяцев его арестовали. Его жена была беременна, и бабушка умоляла её не делать аборта, оставить ребёнка ей, стояла перед ней на коленях. Не уговорила... Вскоре исчезла и жена. Комнату под Москвой забрали, и бабушка Эсфирь вернулась в Симферополь, где прожила всю войну в страхе и голоде.

При фашистах она выжила, вероятно, только благодаря тому, что была православной с ранней молодости, её сын был крещён, и она носила русскую фамилию. Двух её сестёр расстреляли в Бабьем Яру (предварительно заставив нашить звёзды).

Лёвушка по приговору «тройки» получил 10 лет без права переписки. Никто в то время не знал, что это означало расстрел, и бабушка Эсфирь ждала. Когда я появилась в доме Обручевых, шёл уже 11-й год после его ареста, но она не переставала надеяться, порой была уверена, что он вот-вот появится в дверях. И это несмотря на то, что в конце 30-х годов ей пришлось извещение о его смерти. А

точнее пришло почему-то два сообщения, и в них не совпадала сама дата. Вот это несовпадение и стало источником надежды.

Гораздо позже мой отец рассказал мне, что его мать этой надежды не питала. Пользуясь своим положением жены академика Обручева, она добилась встречи с кем-то из важных московских палачей, и тот, повертев в руках какой-то тоненький листочек, промолвил:

– Здесь и дела-то нет. Но помочь нельзя, поздно.

У Евы Самойловны не было никаких сомнений, что Лёвушка погиб сразу после ареста. Но сестру она разубедить не смогла, а, может быть, и не хотела.

Родные и близкие пытались найти логику в его страшной судьбе, понять причину его гибели. Среди многих рассказов, воспоминаний и предположений всплывают две фигуры. Одна из них имеет имя. Это Борис Фригов (девичья фамилия моих бабушек), внебрачный сын младшей сестры Розы, родившийся после её изнасилования. Ева Самойловна взяла ребёнка к себе и воспитала его. Он был на несколько лет моложе моего отца и рос нервным, истеричным, злобным мальчиком, очень любил мучить животных, и буквально издевался над моим папой. Когда Борис вырос, то возненавидел семью, которая его воспитала, свою мать и весь мир. Вскоре он стал делать стремительную карьеру в органах ГПУ.

После исчезновения Лёвушки он каким-то образом проник в комнату, где ещё жили несчастные мать и жена (а, может быть, и очень просто проник!), и в их отсутствие уничтожил все фотографии своего кузена. Может быть, арест Лёвушки было его рук дело? Вскоре исчез и сам Борис, пройдя весьма обычный путь того страшного времени.

Вторая фигура имени не имеет. В середине 30-х годов Лёвушка неоднократно встречался с каким-то человеком, приехавшим из Франции. Говорили, что это был его родственник, или знакомый. Родственник за границей был страшным криминалом в 30-е годы, и эти встречи также могли быть причиной его ареста.

У меня нет ни малейшей надежды проверить оба предположения, и вряд ли это когда-нибудь удастся. Возможно, соседу очень нужна была его комната, и это была бы не менее важная причина. (Донос-арест-гибель прежнего владельца). Но о возможных французских родственниках Лёвушки я всерьёз задумалась года

полтора тому назад, и это произошло совершенно случайно...

2. Маленькая интермедия.

– Вы знаете, Клепинины – очень редкая фамилия, – говорила мне Ольга Петровна Раевская-Хьюз, профессор университета в Беркли (Калифорния, США), очень известный специалист по истории русской эмиграции, – я знаю многие русские имена начала века – Лопухиных, Оболенских, Пуцуиных – великое множество, а вот Клепинина я знаю только одного. Это отец Дмитрий, православный священник в Париже, погибший в нацистском лагере при оккупации Франции. Он был сподвижником матери Марии – Вы её знаете? – и недавно оба они причислены к лику святых. Разговор происходил в Америке в августе 2006 года. С Ольгой Петровной я познакомилась в письмах за год до этого, после того, как она прочла и тепло отозвалась о моей книге «На чужой стороне» (первое издание 2004 года).

О матери Марии я имела какое-то представление. Знала, конечно, о её подвиге: она вошла в газовую камеру, поменявшись номерами с молоденькой еврейской девушкой. И видела фотографии её живописных работ и вышивок – буквально накануне мне с восторгом демонстрировала их Вероника Городецкая, моя бывшая ученица и ближайший друг, по приглашению которой я и находилась в Америке.

На следующий день Ольга Петровна принесла мне маленькую книжечку об отце Дмитрие Клепинине:

– Посмотрите, может быть, он родственник Вашего дядюшки.

Книга произвела на меня сильнейшее впечатление (ведь я ничего не знала раньше о Дмитрие Клепинине, о деятельности матери Марии). Однако, выяснить что-то конкретное о родстве о. Дмитрия с моим Лёвущкой я не смогла. Был только один обнадеживающий факт (мне, конечно, уже очень хотелось, чтобы это родство подтвердилось): отца священника звали Андрей Николаевич, следовательно, он мог быть родным братом (!) Николая Николаевича, мужа бабушки Эсфирь.

– Ольга Петровна, но что делать дальше, как выяснить всё до конца?

– Надо написать Елене Дмитриевне, дочери о. Дмитрия.

– А как узнать её адрес?

– В этом я Вам помогу.

Адрес Ольга Петровна смогла выяснить далеко не сразу, узнала она его только через Никиту Струве, и через полгода я написала Елене Дмитриевне Клепининой–Аржаковской. Она очень быстро ответила на моё письмо, прислала интересные фотографии, но о братьях своего деда, к сожалению, ничего не знала. Однако я получила от неё телефоны и адреса тех её родных, кто мог бы мне в этом помочь.

И только в сентябре 2007 года я встретила в Москве с Аркадием Владимировичем Клепининым, который вручил мне свою родословную, восходящую к 1646 году.

– Все мы, Клепинины, родственники, – сообщил он мне, – наш предок в середине XVII века работал на алапаевских заводах. В конце XVIII века Григорий Клепинин основал село «Никольское», и оно перешло по наследству. Последним его владельцем был Николай Николаевич, муж вашей двоюродной бабушки.

Так я узнала, что Николай Николаевич был ещё и помещик.

В этой родословной стояло и имя бабушки Эсфирь и годы жизни Лёвушки.

Наконец я получила доказательство: да, Николай Николаевич и Андрей Николаевич были родными братьями. Следовательно, Святой Дмитрий был таким же кузеном моего Лёвушки, как и мой отец. Но узнала я и другое. У о. Дмитрия был старший брат Николай. И если говорить о «французских» контактах Лёвушки, то они были возможны только со старшим братом или его друзьями, поскольку Николай Клепинин в 30-е годы, живя в Париже, с головой окунулся в политику, стал агентом московского ГПУ и ближайшим другом Сергея Эфрона и Марины Цветаевой.

Поэтому рассказ о сыновьях Андрея Николаевича я начну со старшего, Николая.

3. Николай Андреевич Клепинин, евразиец.

Итак, во Франции у Лёвушки, действительно, жили родственники. Старший брат его отца, Андрей Николаевич бежал из Севастополя со всей семьёй в ноябре 1920 года вместе с армией Врангеля.

В России он был знаменитым в своё время архитектором Кавказских минеральных вод. Им построено там большое количество зданий для ванн, много домов, мостов и один из лучших православных храмов в честь Архангела Михаила. Почти все строения сохранились до сегодняшнего дня, его имя очень известно в тех краях, и в 90-е годы XX века ему посмертно присвоено звание почётного гражданина Кисловодска. В эмиграции он продолжал строить здания и храмы и умер в 1956 году в семье единственной дочери Татьяны. Он пережил своего младшего брата на 20 лет. Об этой смерти, скорее всего, он ничего не знал; но ему выпала горькая доля пережить горячо любимую жену Софью Александровну и обоих своих сыновей – Николая и Дмитрия.

Вся семья Андрея Николаевича была религиозна ещё в России. В начале эмиграции, в Белграде, они принимали живое участие в организации Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД). Эта идея – создание православного братства за границей объединила в те годы многих замечательных людей. Среди них – священник Сергей Булгаков, семьи Оболенских, Лопухиных, Зерновых и многие другие. Православие стало стержнем национальной идентичности, источником духовной силы. И оно стало играть на Западе значительно большую роль, чем раньше: строились новые храмы (или приспособлялись для этого различные помещения), основывались монастыри, открывались духовные школы. Оба сына Андрея Николаевича и Софьи Александровны активно работали в РСХД.

Старший, Николай, обладал несомненным литературным даром. В 20-е годы в русской прессе появлялись его статьи, а в 1927 году (автору всего 28 лет) вышла его книга «Святой и благоверный князь Александр Невский», которую заметили и высоко оценили такие замечательные русские философы, как Г.П.Федотов и В.Н.Ильин. Это настоящее историческое исследование, основанное на летописях и не утратившее научного значения до сегодняшнего дня. Но действуют в книге живые люди, а не исторические схемы. Культура древней Руси прожита автором как его личное кровное прошлое. Здесь сочетается заинтересованность прямого потомка с необходимой мерой объективности и отстранённости. Кроме того, эта книга многое объясняет в судьбе её автора и потому заслуживает особого внимания.

Анализируя деятельность древнерусского князя, Николай Клепинин ставит ему в заслугу спасение православия на Руси. В острейший момент истории, уже прославленный победами на реке Неве и Чудском озере (в знаменитом «Ледовом побоище»), князь Александр должен был выбирать между Западом и Востоком.

Нашествие Хана Батгя на Русь в 1240–42 годах разрушило до основания 49 городов из 74-х тогда существовавших, и треть из разрушенных так и не смогли восстановиться. При набегах монголы не щадили никого и ничего. Единственной возможностью предотвратить дальнейшие разрушения были безукоснительная выплата дани и выполнение второго, не менее унижительного условия: поездок русских князей за «ярлыками на княжение». Хотя монголы и не дошли до Новгорода, Александр, тогда новгородский князь, получил в 1246 году от Батгя «повеление покориться его державе». Александр долго колебался. Он уже был знаменит своими победами, Новгород стал к тому времени богатым и значительным торговым центром севера. Но страх перед монголами был очень велик: у всех перед глазами стоял угрожающим примером Киев, до основания разорённый, потерявший все свои торговые пути.

После совета с митрополитом Кириллом и с его благословения Александр в конце концов дал своё согласие на поездку в Орду за «ярлыком на княжение».

Три года ушло на то, чтобы добраться до Каракорума, столицы монгольского ханства (на границе с Тибетом) и вернуться обратно. Александр воочию убедился там в несокрушимой силе и военной мощи монголов; их империя доходила до Индии на юге и до германских княжеств на западе. Сопrotивляться этой силе разрозненным и враждовавшим между собой русским землям было в то время абсолютно немислимо.

В том же 1246 году в Новгород явились посланники от Римского папы Иннокентия IV. Послы не застали Александра – он уже уехал в Орду – и свидание состоялось только в 1251 году во Владимире, где Александр правил последние 10 лет жизни. Иннокентий IV отправил два посольства, второе – на юг, в Галич, князю Даниилу. Папа предлагал обоим князьям королевский титул и военную помощь в борьбе с монголами, если они подпишут «унию», по которой православная церковь признала бы господство над собой Римского папы. И на этот раз Александр советовался с митрополитом Кирил-

лом. Результатом был отказ Иннокентию IV.

Николай Клепинин считает этот момент решающим в русской истории. Причина выбора заключалась в том, что татаро-монголы были совершенно равнодушны к религии, скорее даже наоборот – они уважали чужую веру: русские церкви и монастыри не платили им дани. Иннокентий IV требовал именно отказа от исконной православной веры, которая к тому времени насчитывала почти 300 лет своего существования на Руси.

«Народ всегда живёт своей внутренней творческой силой... все усилия подлинного спасения должны, прежде всего, направляться на сохранение этой творческой основы, на отвращение посягательств именно на неё. Поэтому менее страшны грандиозные по размеру разрушения внешнего, чем незаметные попытки уничтожить внутреннее. Св. Александр Невский сознавал этот исторический закон. Вся его деятельность свидетельствует об этом. Он видел подлинную сущность России, её внутреннюю силу, и все его усилия были направлены на её сохранение. Этим объясняется его упорная борьба с католическим Западом»¹.

Николай Клепинин пишет о полном одиночестве своего героя, о том, что современники его не понимали. С ним боролся даже его сын. Александра обвиняли в пособничестве монголам, поскольку он зорко следил за выплатой дани, сам подавлял восстания, казнил виновных. Если учесть, что он ненавидел поработителей не меньше восставших, можно понять всю трагичность этих казней.

Автор прославляет святого Александра, называет его мучеником за спасение православия и святой Руси. Даниил Галицкий принял предложение Иннокентия IV, но при его попытках восстаний против татар был разбит наголову, поскольку никакой помощи не получил. (1246–49гг., 1252–54гг.) Его земля была опустошена, сам он едва спасся и бежал в Польшу. Вскоре его княжество вошло в состав польского королевства.

Ещё одна важнейшая мысль проходит сквозь всю книгу Клепинина. Он считает, что несмотря на все ужасы монгольского владычества, Чингисхан и Батый, создавшие мощнейшую империю

¹ Николай Клепинин «Святой и благоверный Великий князь Александр Невский». КМПФ «Эра», 1994 г., стр. 140.

своего времени, включили в неё и разрозненные русские княжества, чем вывели их на мировую арену. Единая татарская власть была при этом важнейшим стимулом объединения, «собирания русских земель» и через 200 лет сильное Московское царство (возникшее благодаря татарам, по мысли автора) смогло смести иго Орды.

Николай Клепинин говорит о двух линиях преемственности России: духовной, идущей с запада, из Византии; и державно-государственной, идущей от Чингисхана.

Все главные мысли, основные выводы книги Николая Андреевича были чрезвычайно созвучны евразийству, важнейшему течению русской эмиграции, возникшему между двумя мировыми войнами. Неудивительно поэтому, что Николай Клепинин стал активным его сторонником. Теория евразийства как раз и говорила о двойственной природе России (отсюда и название – Евразия), о том, что у неё должен быть собственный путь развития, отличный от Европы, что азиатские черты России – не её слабость, а её сила.

У истоков евразийства стояли известные учёные разных областей знания: филолог князь Трубецкой, историк Георгий Вернадский (сын академика), географ Пётр Савицкий, искусствовед Пётр Сувчинский, философ Георгий Флоровский. Ему сочувствовали Лев Карсавин и Владимир Ильин. Эти имена говорят сами за себя. Философия евразийства последовала после страшного шока от потери державы, устойчивость и мощь которой казалась совершенно незыблемой. Но сама стремительность этого краха отнимала всякую надежду на реставрацию старого. Это учение смотрело вперёд, пытаясь нащупать те пути, по которым должна будет развиваться страна после ухода атеистической диктатуры.

Основой государственной жизни России-Евразии должны стать, по мнению евразийства, не материальные, а духовные стимулы, а именно православие, под влиянием которого сформировалась вся русская культура. Оно ни в коем случае не должно заменить все остальные конфессии многонациональной России, оно должно стать «ферментом» (термин Трубецкого) государственной жизни, объединяющей силой. Православие должно стать главной идеей правящего слоя, который будет состоять из лучших людей, философов. Общность мировоззрения объявлялась непременным условием правящего класса. Патриотизм, верность родине должны преобладать в каждом человеке и подавлять все национальные,

конфессиональные и социальные различия.

Евразийцы считали нереальным равноправие людей, а стремление к нему – фальшивым и ложным. Поэтому все демократические институты европейского типа объявлялись опасными для России. Евразийцы провозглашали «право на привилегии», ратовали за сильную власть и государственное принуждение. Сам тип такого государственного устройства евразийцы называли «идеократия».

Движение евразийства охватило в 20-30 годы все страны русского рассеяния: Францию, Германию, Великобританию, Австрию, Сербию, Чехословакию. Статьи главных идеологов печатались в газетах и журналах «Евразия», «Евразийская хроника». Конечно, эти публикации вызывали споры и несогласия.

Самым блестящим критиком евразийства был Николай Бердяев. В статье «Утопический этатизм евразийства» (1927 г.) он говорит о высокой ценности многих идей этого философского направления. Но указывает при этом на главный, «зловещий» по его словам, недостаток идеократии. «Идеальные» государства, которыми должны управлять «идеальные» люди, были реализованы в истории неоднократно: это всегда и всюду – идеальная тирания. Наиболее древний пример такого государства описывает Платон в своём труде «Республика». Позже к таким «идеалам» неоднократно призывали теоретики, и оно осуществлялось на практике. Вот примеры, которые приводит Бердяев: папская теократия, императорская власть, коммунизм, евразийство.

Все государства такого типа берут на себя роль церкви (в случае теократии наоборот, церковь становится государством). И это главная, роковая ошибка, которую не замечают евразийцы. Они не признают дуализма человека, сосуществование в нём двух сил: царство Духа и царство кесаря. Но этот дуализм действует, и будет действовать и в отдельном человеке и в человеческом обществе вплоть до преображения всего сущего и конца истории.

Бердяев недаром ставит коммунизм и евразийство через запятую. Советский Союз был в то время религиозным, конфессиональным государством; здесь господствующей религией являлся воинствующий атеизм небольшой коммунистической секты. Другие религии, естественно, не имели права на существование. Строй, где насильем достигались бы идеалы евразийства, ничем не отличался бы от коммунизма и фашизма. Православие при этом превратилось

бы в свою противоположность, потеряло бы все свои основы, из него надо было бы прежде всего изгнать Христа. Совершенно неважно, какая идеология, которую должны разделять сто процентов населения, объявляется «обязательной». Важны способы её внедрения и миллионы невинных жертв.

Царство Духа и царство кесаря полярно по своему существу, они не могут, и не должны заменять друг друга, они друг друга дополняют. Для земного существования человека нужны институты, организующие его жизнь. Здесь, в этих организациях действуют власть, сила денег, успех, слава, могущество, а, следовательно – зависть, ненависть, обман, преступления, войны. Такова сама природа человека, весьма далёкая от совершенства после грехопадения, после изгнания из Рая. Государство должно хоть как-то руководить всеми этими чёрными силами, смягчая их. При этом главное – юридические нормы, право, законы, которые должны действовать, быть обязательными и для власти имущих.

Но в человеке есть и другие качества. Он помнит о Рае, из которого был изгнан. Эта потребность Рая, стремление к нему, эта потребность в духовной жизни есть в каждом человеке, она также неистребима, как потребность в пище. Царство Духа тоже связано с самой природой человека. Здесь всё преображается, в этом мире царят любовь, красота, совершенство. А главное – свобода, ибо царство Духа может быть достигнуто только абсолютно свободным, личным, неповторимым путём. Государство должно бороться с коррупцией, обманом, преступлением. Но принуждать насилем что-то или кого-то любить оно не может и не имеет права. Здесь могут действовать только законы свободного выбора.

Разделение властей на духовную и светскую совершенно необходимо для здоровой жизни любого государства. И власть духовная всегда и выше, и глубже светской власти. Никаким «царям» нельзя воздавать божественные почести. Сам Христос говорил об этом разделении: «Цари господствуют над народами... а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий» (Лука 22, 25).

В упомянутой статье 1927 года Бердяев писал: «Нравственные обвинения против евразийцев, что они приспособляются к большевистской власти и чуть ли не являются агентами большевиков,

представляются мне не только неверными, но и возмутительными». ² Увы, в этом Бердяев ошибался. Великий религиозный философ и нравственный аристократ, он просто не мог себе этого представить.

В середине 20-х годов в обществе евразийцев выделилась группа, которую иногда называли «левые», и если для большинства коммунистическая Россия продолжала оставаться образом воплощённого зла, то для этой группы коммунизм не стал помехой. Ведь сама по себе советская государственность очень походила на модель идеократии. И они были столь наивны, что надеялись попросту заменить там идеологию коммунизма православной верой.

Сегодня эта утопическая идея выглядит совершенно дикой, но в то время она, быть может, казалась вполне реальной. Не следует забывать, что в 20-30 годы эмиграция буквально «сидела на чемоданах», ожидая «перерождения» большевиков. (Большевики таки переродились, но произошло это, увы, значительно позже...). К тому же, информация, а вернее, мощнейшая дезинформация, идущая из Советского Союза, иногда путала все карты.

В 20-30 годы Париж был наводнён советскими сексотами. Действовала и яростная пропаганда таких деятелей культуры, как Маяковский, Алексей Толстой, Илья Эренбург. Они повсюду говорили о свободе, могуществе и процветании в Советском Союзе. За всем этим стояли советские миллионы, на которые не скупилось правительство (держа свой народ внутри страны в страхе, голоде и почти наркотическим энтузиазме). Маяковский, например, мог купить своей возлюбленной автомобиль новейшей марки; он просто сорил деньгами. Не отставали от него и другие «выездные» советские интеллигенты.

Живущая впроголодь русская культурная эмиграция наблюдала за этим с удивлением. Многие (Бунин, Ремизов, Набоков, и другие) прекрасно понимали цену и подобной свободе и подобного богатства. У них все эти люди вызывали лишь отвращение. Но некоторые поддавались и верили, что писатели в советской России могут жить, как Маяковский в Париже.

А жизнь в эмиграции была тяжелейшей и материально, (иногда

² Николай Бердяев. «Утопический этатизм евразийства», 1927 г., стр. 1–2 <http://www.w.w.vebi.net/berdyaev/evraz2.html>.

да на грани голода), и морально. Тоска по России была всеобщей, французы не подпускали пришельцев к почётным и выгодным должностям (это легко понять; и надо сказать спасибо, что страна всех их приняла), сделать там карьеру было немислимо (отдельные исключения только подтверждают правило).

Описывая всё это, я пытаюсь понять таких людей, как Сергей Эфрон, генерал Скоблин, его жена, горячо любимая всеми певица Надежда Плевицкая. Все они стали платными агентами московского ГПУ. К таким людям примкнул и Николай Андреевич Клепинин.

Плевицкая и Скоблин не были евразийцами, но Сергей Эфрон одно время был главным редактором еженедельника «Евразия», был очень активным членом этого движения. Помимо того, он возглавлял «Союз возвращения на Родину», бывший центром ГПУ (НКВД) в Париже. Перерождение небольшой группы евразийцев подкреплялось теоретически: всё, что произошло с Россией, было «предопределено исторически», это был необходимый этап по пути к «идеократии», борьба с большевиками стала считаться ошибкой (и Сергей Эфрон, и Николай Клепинин воевали в рядах Белой армии). Многие стали мечтать о возвращении на Родину, идеализируя её, совершенно не понимая, что там происходит. Материальные проблемы также имели значение. У Сергея Эфрона было двое детей, у Николая Клепинина – трое. Их надо было не только кормить, им надо было дать приличное образование. А работу в Париже найти было почти невозможно. Кому были нужны стихи Эфрона, труды Клепинина, если даже богатейшая многогранная литературная деятельность Марины Цветаевой не могла обеспечить ей достойное существование.

Многие мемуаристы и родственники говорят о том, что Николай Андреевич очень легко поддавался чужому влиянию. А самое мощное исходило от его жены Антонины (Нины) Николаевны. Интересную характеристику супругам Клепининым даёт Зинаида Шаховская, чей муж Станислав Малевский – Малевич также был евразиец, принадлежавший к противникам «левых»: «Николай Клепинин ... был личностью бесцветной (с этим трудно согласиться – Л.Б.), над ним целиком и полностью властвовала его мощная половина, Нина Клепинина, гигантского роста блондинка с правильными, но жёсткими чертами лица. В прошлом она была женой профессора Сеземана, ученого мужа, пожелавшего вернуться в СССР. Про него говорили, что коммунистический режим показался ему безобидным

в сравнении с тем гнётом, которому его подвергала супруга». ³

Клепинины стали близкими друзьями Сергея Эфрона и Марины Цветаевой уже начиная с середины 20-х годов. Они и жильё снимали недалеко друг от друга. Марина Цветаева не принимала участия в деятельности остальных; насколько она могла о ней догадываться – вопрос дискуссионный. Но увлечения своего мужа она не разделяла.

Сергей Эфрон не был рядовым чекистом, он возглавил многие операции ГПУ. Они занимались вербовкой людей, сбором информации. Но, в конце концов, дело дошло и до организации похищений и убийств тех, кто был неугоден их новым хозяевам. Разумеется, убийства эти были «идеологические», т.е. объяснялись «высшими целями». Эфрон и Клепинин организовали убийство Игнасия Рейсса. Это был сотрудник Г.П.У., который отказался возвращаться в Москву и написал обвинительное письмо Сталину. Его убили 4 сентября 1937 года в пригороде Лозанны, в Швейцарии, и швейцарская полиция сообщила во Францию имена предполагаемых преступников. Все нити вели к «Союзу возвращения на Родину».

22 сентября 1937 года в Париже среди бела дня был похищен белоэмигрант генерал-лейтенант Миллер, и в тот же день парижская полиция нашла след похитителей: это были Надежда Плевицкая и генерал Скоблин. Разразился международный скандал. Похищение Миллера переполнило чашу терпения французских правоохранительных органов, и они не только арестовали Плевицкую (её мужу удалось скрыться), но и объявили о розыске Сергея Эфрона, супругов Клепининых (и некоторых других) как секретных агентов ГПУ.

Плевицкую позже судили и дали ей 20 лет тюрьмы (а Скоблин не явился разделить с ней её участь!) От неё с презрением отвернулись все бывшие многочисленные её поклонники. Вскоре она умерла в заключении (или была отравлена советскими агентами). Не ушёл от советской мести и генерал Скоблин: он был убит в Испании «за провал операции». Остальным удалось скрыться.

Вот что пишет об этих днях Зинаида Шаховская, жившая тог-

³ Зинаида Шаховская «Таков мой век» Москва, Русский путь, 2006 г., стр. 317.

да в Бельгии: «23 сентября 1937 года в Брюсселе мы раскрыли газеты и с возмущением узнали о том, что был похищен генерал Миллер... Эмигранты встретили это известие с изумлением и гневом. А нас особенно поразило то, что, как сообщили газеты, среди разыскиваемых в связи с этим преступлением лиц были супруги Клепинины. После обеда я вышла за покупками. Внезапно на остановке трамвая на углу авеню Луиз и улицы Байи вижу группу из четырёх человек: Клепинины, Василий Яновский и Николай Перфильев. За считанные минуты мне нужно решить для себя нравственный вопрос. Несомненно, похищение генерала Миллера – преступление, равносильное убийству..., мне достаточно подойти к полицейскому, находившемуся совсем недалеко... Я их вижу, они меня – нет... Я не двинулась с места – и до сих пор не знаю, правильно ли я поступила, что не донесла на них. Меня остановило опасение, что я хочу свести с ними личные счёты. Я их терпеть не могла, и мне было бы очень приятно узнать, что они, по крайней мере, в тюрьме. Но сегодня я иногда думаю, что не исполнила своего гражданского долга»⁴ А я думаю, что если бы Зинаида Шаховская этот долг исполнила, то она, возможно, спасла бы кого-нибудь из них от гибели.

Итак, все они бежали из Парижа в Москву. Осталась там только Марина Цветаева с сыном. Её много часов допрашивали во французской полиции. Но она не помогала мужу в его чудовищной деятельности, и, к чести французов, они это сразу поняли. Её отпустили и больше не беспокоили. Цветаева не была арестована, как Плевицкая, но позора она натерпелась немало. Завидя её, знакомые переходили на другую сторону улицы. От неё шарахались, как от зачумлённой. «Эмиграция меня выталкивает» – говорила она. Да и на какие деньги жить! Её отъезд с сыном в Советский Союз, их дальнейшая страшная судьба были predeterminedены всей деятельностью её мужа.

В Москве беглецов вместе со всеми детьми поселили под чужими фамилиями в посёлке Болшево под Москвой. Здесь они жили некоторое время на материальном обеспечении НКВД (ГПУ). Они ждали благодарности, признания своих заслуг, настоящей работы. Они хотели вместе со всем народом строить новую жизнь. Советская благодарность долго ждать себя не заставила. В 1939 году были

4 там же, стр.320.

арестованы: 27 августа дочь Цветаевой Ариадна Эфрон, 10 октября Сергей Эфрон. В ночь с 6 на 7 ноября супруги Клепинины и сын Нины Николаевны от первого брака Алексей Сеземан.

В страшных допросах ничего не говорилось об их заслугах перед Москвой. Из них выбивали признания в том, что они одновременно были агентами французской разведки. Допросы длились два года. И здесь, как и в Париже, ведущим было дело Сергея Эфрона. Но расстреляны они были все вместе как французские шпионы 28 июня 1941 года в пересыльной тюрьме города Орла (по другим источникам Клепинины расстреляны 27 августа, а Эфрон 16 октября того же года). Ариадна Эфрон и Алексей Сеземан были отправлены в лагерь.

Так трагично завершилась жизнь Николая Андреевича Клепинина. А началось всё с того, что он поверил в возможность «рая на земле», который должна организовать «хорошая» государственная власть; поверил, что насилием можно заставить людей искренне, всей душой, верить в Бога; поверил, что «сильная власть» (не сдерживаемая обязательными юридическими нормами – а это и есть то «европейское», против чего так восставали евразийцы) – что такая власть, став диктатурой, может быть орудием добра. И не поверил Н.Бердяеву, которого, конечно, читал, а, возможно, и знал лично.

4. Православный священник Дмитрий Клепинин.

Летом 1986 года в аллее Праведников Мира в Яд ва-Шеме, недалеко от Иерусалима были посажены два дерева – в честь матери Марии (Скобцовой) и священника Дмитрия Клепинина. 16 января 2004 года Вселенский патриарх Варфоломей причислил к лику святых: Мать Марию (Скобцову), её сына Георгия, Илью Исидоровича Фондаминского, священника Дмитрия Клепинина, священника Алексея Медведева.

Всенародное прославление новых святых состоялось 1 мая 2004 года в Александро-Невском соборе города Парижа. Это произошло в год столетия со дня рождения Дмитрия Андреевича Клепинина. В том же году появилась книга «Жизнь и житие священника Клепинина» (Москва.Русский путь.), которая стала главным источником моего дальнейшего рассказа об этом человеке.

Младший сын Андрея Николаевича и Софьи Александровны с младенчества рос слабым и больным мальчиком. Постоянные болезни надолго приковывали его к постели в детстве и отрочестве, и это сделало его человеком, сосредоточенном на своём внутреннем мире. Одновременно он научился состраданию к ещё более слабым, несчастным, нищим. Среди его друзей было много таких людей. Со щемящей жалостью относился он и к животным; взрослые были уверены, что с кошками и собаками он общается на их языке.

С возрастом Дима окреп, но никогда не смог стать совершенно здоровым человеком. Со своим старшим братом Николаем Дима очень дружил, они вместе работали на съездах РСХСД. Когда Дмитрий поступил в Богословский институт Парижа, Николай собирал сведения для этого института о зверствах советских властей по отношению к православию: о расстрелах священников, разграблении и разрушении храмов и монастырей, преследовании верующих.

Всё, что знал Николай, знал и любил Дмитрий, они выросли в замечательной семье. Евангелие было их опорой с детства, и в этом заслуга их матери, которая не только постоянно читала его детям, но и сама сочиняла молитвы. Она была педагогом и основала в Одессе, где жила семья в начале века, особую школу: здесь чрезвычайно поощрялось детское творчество. В этой школе она преподавала Закон Божий. Кроме того, она стала в Одессе мировой судьёй и массу времени уделяла помощи бедным районам этого города.

Кузиной Софьи Александровны была Зинаида Гиппиус, и её муж Дмитрий Мережковский был крестным отцом Димы. Ближайшим другом семьи стала родная сестра Зинаиды, Анна Гиппиус, глубоко верующий человек, которая особенно любила Диму и очень много ему помогала.

С матерью у Димы была особая, тесная и нежная связь, и её неожиданная смерть, когда ему было всего 18 лет, стала для него страшным потрясением, которое только углубило его веру. Он чувствовал её присутствие и помощь до конца своих дней; в своих дневниках писал ей письма, в полной уверенности, что она их читает: «...помоги мне, если имеешь дерзновение перед Господом идти по пути, угодному Ему. Как я рад, что Ты знала, что я люблю Тебя, что, несмотря на мою слепоту, невнимание к Тебе, Ты знала, что я люблю. Я сейчас пойду спать, а Ты будь со мной, как тогда, когда я был над Босфором, а Ты в Ялте... Вечная Тебе память.

7 сентября 1929 г.»⁵ («Над Босфором» Дима плыл матросом в возрасте 16 лет на торговом судне добровольческого флота. Когда он прибыл в Константинополь, стало известно о потере Крыма и эвакуации армии Врангеля. На одном из врангелевских кораблей бежала и вся его семья, которую он дождался в Константинополе.-Л.Б.)

Внешне Дмитрий был человеком некрасивым, маленького роста, немного косил. Не обладал он и литературным даром старшего брата, не стал выдающимся богословом. Но он обладал редчайшим человеческим качеством, редчайшим даром любви к людям. Он умел увидеть в каждом человеке Образ Божий, умел понять, как тот был «задуман». В ответ его горячо любили все, кто его знал. Где бы он ни появлялся – учеником в школе, матросом на пароходе, студентом, священником, а затем – узником нацистских лагерей – везде он завоёвывал самую нежную симпатию.

После окончания Богословского института он получил стипендию для обучения в Богословской семинарии Нью-Йорка. По возвращении в Париж много лет работал простым чернорабочим: мыл окна, натирал полы – найти другую работу было невозможно.

В 1937 году он женился на Тамаре Фёдоровне Баймаковой, человеке редкой духовной красоты, бывшей в то время секретарём РСХД и корреспондентом «Вестника христианского движения» в Риге. В браке у них родилось двое детей: дочь Елена (1938) и сын Павел (1942).

В год женитьбы Дмитрий был рукоположен сначала в дьяконы, затем в священники. Он был очень счастлив – священство выражало самую суть его личности, здесь его любовь к людям могла проявиться со всей глубиной, на какую он был способен. В его письмах к жене не раз можно прочесть, что он был бы самым несчастным человеком, если бы не стал священником.

После недолгого служения в двух православных храмах Парижа, в 1939 году он стал настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Лурмель 77. Его направил туда митрополит Евлогий. При этой церкви были организованы приюты для одиноких, брошенных и нищих эмигрантов. В одном из них, рядом с самой церковью, жил с середины 30-х годов замечательный русский

5 «Жизнь и житие священника Клепинина» (1904–1944). Москва, Русский путь, 2004г., стр.14.

поэт Константин Бальмонт. Отец Дмитрий отпевал и хоронил его в 1942 году.

Главным организатором приютов была монахиня мать Мария (Скобцова). У неё было много помощников, среди них её сын, православный юноша Юрий Скобцов. Мать Мария (урожд. Елизавета Юрьевна Пиленко) была человеком легендарным. В ранней юности она была дружна с Александром Блоком, и сама была незаурядная поэтесса. Вместе со своим первым мужем Кузьминым-Караваевым посещала Башню Вячеслава Иванова, читала там свои стихи. Была знакома с Ахматовой, Гумилёвым и другими поэтами серебряного века. Кроме того, она хорошо рисовала и замечательно вышивала.

От первого брака у неё была дочь Гаяна, которая под влиянием Алексея Толстого в 1935 году уехала в Москву, где через год умерла при таинственных обстоятельствах в возрасте 23 лет. Во втором браке с Даниилом Скобцовым у неё было двое детей. Дочь Настенька в 3 года заболела менингитом и умирала на руках у матери. Это умирание, эта смерть перевернула всю её жизнь: «...я не знала, что такое раскаяние, а сейчас ужасаюсь ничтожеству своему... сейчас знаю, что молиться-умолять я не смею, потому что ничтожна... Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего, очищенного пути... чтобы оправдать, понять и принять смерть... и вечно помнить о своём ничтожестве. О чём и как ни думай – больше не создать, чем три слова: «любите друг друга».⁶ 7 мая 1926 года Настя умерла и началась новая жизнь её матери, полная жертвенной любви. Позже она написала знаменательный труд «Типы религиозной жизни», где утверждала, что лишь активная, ежедневная, не щадящая себя помощь людям является настоящим служением Христу.

В 1932 году митрополит Евлогий постриг её в монашество, и она стала монахиней в миру. Её начинания иногда казались безумством окружающим её людям. Но она твёрдо верила (знала!), что всё будет – и дома престарелых, и бесплатные обеды, и зал для собраний, и журнал. Свою деятельность она назвала «Православное

6 «Что такое церковность». Избранные труды преподобномученицы Марии (Скобцовой). Москва, Центр православной книги, 2006 год, стр. 21–22.

дело». Деньги добывались у богатых людей, и она сама ездила по всей Франции, разыскивала погибавших русских эмигрантов. В ней горел постоянный внутренний огонь, она говорила: «Я не рассуждаю, я повинуюсь».

С началом войны стала опекает военнопленных (за спасение советских солдат получила посмертно медаль Отечественной войны), после оккупации Франции – заботиться о евреях.

Совершенно необычная монахиня – яркая, весёлая, деятельная и тихий, скромный, застенчивый отец Дмитрий мгновенно нашли общий язык, несмотря на то, что были совершенно разными людьми. Они, вероятно, сразу почувствовали друг в друге главное: настоящую глубину и абсолютную искренность, полное отсутствие тщеславия, самолюбования, бесстрашие и готовность к любым жертвам ради Христа, которого оба чувствовали рядом, как совершенно реальную личность. У них была действительная готовность нести крест Господень, и они оба сознавали это с радостью.

Отец Дмитрий стал активным участником «Православного дела». После прихода нацистов сразу встал вопрос о помощи евреям. И решение было принято совершенно сознательно. «Сам Спаситель поступил бы таким же образом при такой нужде»⁷ – говорил о. Дмитрий. Он выдавал евреям свидетельства о крещении без выполнения обряда: это была охранная грамота, которая спасла жизнь многим. Евреев прятали, кормили, переправляли в безопасные места. Отец Дмитрий чувствовал, что «Православное дело» начинает интересовать нацистов, что его работники находятся под подозрением. Но, несмотря на это, оставался мужественным и бесстрашным. Однажды он получил от епархиального управления требование списков новокрещённых. Вот что он ответил: «...все те, которые приняли у меня крещение, тем самым... находятся под моей прямой опекой. Ваш запрос мог быть вызван исключительно давлением извне и продиктован Вам по соображениям полицейского характера. Ввиду этого я вынужден отказаться дать запрашиваемые сведения».⁸ Своим друзьям он говорил: «Эти несчастные – мои духовные дети. Церковь во все времена была убежищем для жертв варварства».⁹

Варвары нагрянули на улицу Лурмель 8 февраля 1943 года с

7 «Жизнь и житие священника Клепинина», стр. 23.

8 там же, стр. 23.

9 там же, стр. 23.

обыском. В течение недели были арестованы десятки людей, в том числе мать Мария, отец Дмитрий, Юра Скобцов.

На первом допросе с о. Дмитрием были почти вежливы – православный священник в качестве арестанта был им мало интересен. Его готовы были отпустить сразу; он только должен был обещать, что больше не будет помогать этим полулюдям – евреям. Тогда о. Дмитрий взял свой наперсный крест и показал его гестаповцам:

– А этого Еврея вы знаете?

После чего последовал мощный удар в лицо, и допрос пошёл уже в другом тоне. А он всё повторял и повторял, что никаких обещаний он им давать не намерен.

Вначале всех узников держали во французском лагере Компьень, а оттуда уже высылали в Германию. Мать Марию в конце апреля отправили в женский концлагерь Равенсбрюк (Ravensbrück). Перед отъездом она смогла повидаться с сыном. Это была их последняя встреча.

О. Дмитрий и Юра Скобцов провели в Компьень 11 месяцев. Здесь им удалось из казарменных нар и досок от стола соорудить церковь; жена о. Дмитрия прислала ему облачение и необходимые церковные предметы, и он начал служить литургию. О. Дмитрий исповедовал, крестил, причащал. Он был несравненный исповедник, болел душой за каждого прихожанина, помогал всем, как мог. В письмах к жене (была налажена тайная переписка) регулярно появлялись имена тех людей, кто не получал посылку; люди эти впадали в отчаянье от голода; но вскорости посылки начинали приходиться и на их имя.

На свободе шла активная работа по спасению о. Дмитрия. Удалось многого добиться, его готовы были освободить, но для этого он должен был подписать бумагу с заявлением, что он только священник и к «Православному делу» отношения не имеет. Он отвечал, что никогда этого не сделает, что делать это нельзя: «Мы все несём равную ответственность и равно ни в чём не виноваты».¹⁰

В декабре 1943 года Юра Скобцов и о. Дмитрий в числе большого количества арестантов были отправлены в Германию, в Бухенвальд. Хотя теперь ни о какой церкви не приходилось и мечтать, но и здесь о. Дмитрий утешал всех отчаявшихся. Когда приходили

10 там же, стр. 10.

посылки из дома, он делился едой с теми, кто не получал ничего. Это были, в основном, советские пленные. Как только он заметил, что с ними обращаются хуже, чем с остальными, то сразу спорол со своего рукава букву «F», что означало «француз», и нашёл советский знак (а, может быть, и поменялся с каким-нибудь уже совсем обессиленным человеком).

В середине января 1944 года о. Дмитрий и Юру Скобцова переправляют в подземелье «Дора», где изготовлялись ракеты «V-2». По сравнению с Бухенвальдом это был настоящий ад.

Рабы гигантского подземного завода, попав сюда, уже до конца жизни не видели солнечного света, спали на 10-ти этажных нарах, работали до изнеможения, голодали и погибали.

В январе стали строить новые бараки, уже на улице, в страшной грязи, на сильном ветру в холодных арестантских хламидах. О. Дмитрий заболел сразу и дряхлел на глазах. И здесь нашёлся человек, захотевший ему помочь. Он обратился к распорядителю работ: «Посмотрите на этого старика, может быть, можно найти ему работу полегче?» Тот было согласился, но спросил «старика» о его возрасте. О. Дмитрий ответил правду, чем подписал себе смертный приговор. Он перетаскивал тяжеленные бетонные плиты и продолжил это дело.

В «Доре» о. Дмитрий выдержал три недели. Умирал он страшно – от плеврита и воспаления лёгких в бараке «Шонунг» (Schonung) для освобождённых от работ по болезни. Вот свидетельство очевидца об этом месте: «Шонунг представлял собой картину, ничем не уступающей видению Дантова ада. Она была переполнена не людьми, а скелетами, обтянутыми кожей. Все они сидели прямо на полу плечом к плечу за недостатком места. Солома под ними была пропитана извержениями болящих дизентерией, т.к. они уже не имели силы выходить в уборную при каждой потребности. Помещение было насыщено запахом этих извержений, так что и здоровый человек задыхался, входя в Шонунг»¹¹. О. Дмитрий умер в ночь с 8 на 9 февраля 1944 года. Ему не было ещё и сорока лет.

Один из надзирателей рассказал позже, что за несколько минут до смерти о. Дмитрий шёпотом попросил поднять его правую руку и перекрестить его. Сам он уже этого сделать не мог. Надзиратель вы-

¹¹ там же, стр. 10.

полнил его просьбу. Этим он повторил жест Софьи Александровны: в 1904 году, когда Диме было несколько месяцев, и он уже задыхался от воспаления лёгких, мать взяла его ручку и ею перекрестила младенца. После этого Дима стал медленно выздоравливать.

Так, между двумя крестными знаменами прошла жизнь этого необыкновенного человека.

Юра Скобцов умер в возрасте 23 лет 6 февраля 1944 от истощения. Мать Мария вошла в газовую камеру «Равенсбрюка» 31 марта 1945 года, поменявшись с молодой еврейской девушкой номерами. Может быть, глядя на юное лицо, она вспомнила своих погибших дочерей и захотела подарить людям ещё одну жизнь.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Иоанн, 15, 13.)

5. Эпитафия

В заключение я хочу опять побывать в Москве 1948 года и вспомнить одно невероятное событие, о котором я помню, хотя и была ребёнком. Но здесь необходима небольшая предыстория.

В 1924 году недалеко от татарского села Ташлы-Кипчак, в центре крымских степей, по инициативе Николая Николаевича Клепинина была открыта опытная полевая селекционная станция, где он стал её первым директором (до 1932 года). Он вложил в это дело весь свой талант, всё вдохновение. Ему повезло – власти ему не мешали, не было тупого непрофессионального контроля, который порой уничтожал замечательные начинания советских учёных (и не было ещё Лысенко!) Дела шли успешно, станция расширялась, развивалась. К началу 90-х годов она стала одной из важнейших в масштабе всего Советского Союза; сегодня это – одно из ведущих научно-исследовательских учреждений Украинской Академии аграрных наук.

В 1948 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР этой полевой станции было присвоено имя её первого директора, а село Ташлы-Кипчак переименовали в его честь. Так на карте Крыма появилось селение «Клепинино». В настоящее время это уже небольшой город, разросшийся вокруг бывшей опытной станции. Теперь здесь занимаются не только растениеводством, но и животноводством, кормами, механизацией и аграрной экономикой. Имя

Николая Николаевича окружено любовью и почётом. Его останки перенесли из Симферополя на местное кладбище и поставили на его могиле замечательный памятник. В местном музее есть зал, ему посвящённый – здесь висит его портрет и представлены многие его фотографии и все его книги. Тогда, в 1948 году, люди, готовившие бумаги для Верховного Совета, конечно, не знали, что совсем недавно, в Москве были расстреляны как враги народа сын и племянник Николая Николаевича. Не знали этого, вероятно, и те, кто подписал Указ. Страна большая, уничтожали миллионы, за всеми не уследишь...

Я не помню точно, когда в семье Обручевых узнали об этом необычайном событии – до моего появления там или уже при мне. Но хорошо помню, что об этом много говорили, и бабушка Эсфирь много плакала. Конечно, это была честь, но честь горькая. Признание заслуг горячо любимого мужа, но после исчезновения Лёвушки...

Вероятно, после этого надежды её вспыхнули с новой силой. Она умерла в 1956 году, и ей ещё предстояло пережить время после 1953 года, когда с «того света» стали возвращаться люди.

Мне же хочется закончить свои записки следующей мыслью: хотя Клепинино совсем небольшой городок, он увековечивает редкую русскую фамилию, становится не только данью замечательному учёному, но и своеобразной эпитафией – вместо отсутствующих могил – для трёх замученных братьев. Эпитафией для Николая Андреевича, искупившего свою вину двумя годами страшных допросов и ужасом неизбежной гибели, для Лёвушки, которому не было и 27 лет, и жизнь которого только начиналась, и для святого отца Дмитрия, вся жизнь которого укрепляет веру в добро – не триумфальное и всепобеждающее, а незаметное и непобедимое.

МИЛЛА СИНИЯРВИ

РУССКОЕ ПИСЬМО

Мы подъехали к старинному финскому хутору. Желтело ржаное поле, раскачивались огромные сосны. Столетние роскошные ели охраняли избушку. Она была совсем обветшалой. Старая краска стен имела бордовый оттенок, слоилась и расплылась от ветра. Неухоженная крыша в нагромождениях мха и битой черепицы казалась сердитой, как будто насушилась от обиды. Лужайку перед домом запрудила почерневшая листва от берез и рябин, смешанная с прошлогодним снегом. Ветки древнего крыжовника опустились до земли, образуя неприветливые заросли длинных побегов. Престарелые рябины уставились на нас вопросительно. Здесь жила Кайса. Она умерла в жаркий июльский полдень, старое сердце не вынесло зноя и духоты. От Кайсы остались толстые альбомы с фотографиями и сотни поздравительных открыток, черная лаковая сумочка, изящное портмоне с мелочью, страховые и банковские карточки, рецепты, тонкие кольца, часики, золотая цепочка. Длинные белые волосы запутались в ней, и я не рискнула прикасаться, осторожно положив назад, в сумку. Покойница не имела семьи, ее имущество перешло к нам, близким родственникам. Среди прочего был и обычный полиэтиленовый пакет, завязанный узлом. Мне пришлось его открыть. Там были кожаные туфли без каблука, черные атласные чулки, шелковые панталоны, комбинация с кружевами, корсет телесного цвета с многочисленными крючками и кнопками, легкая шерстяная юбка и вязаная кофта. Вещи были в идеальном порядке. Кайса воспользовалась ими один раз, когда отправлялась в госпиталь. Размышляя о владелице этого добра, я чисто механически примерила ажурную кофточку Кайсы. Опустила руки в карманы и вдруг обнаружила аккуратно сложенную плотную бумагу. Велико же было мое изумление, когда обнаружила русские буквы! Они прекрасно были видны, хотя бумага пожелтела от старости и протерлась на местах сгибов. Четкие буквы, выписанные старательно химическим карандашом, заговорили вдруг и открыли тайну. Вот что поведало письмо:

24июля 1944года

Драгоценная хозяйюшка, чужестранная любовь и жена моя! Когда Вы проснетесь, меня уже не будет в этом доме, приютившем и согревшем несчастного пленника. Я успел сорвать для Вас полевые цветы, они еще хранят капли росы и моих слез. Я должен уйти, счастье мое, чтобы не причинить Вам зла и не отплатить черной неблагодарностью за Ваши гостеприимство и подаренную любовь. Оставляю Вам 20 марок. Это все, что я смог заработать на сенокосе у Пекки. Целую Ваши руки, прощайте! Ваш русский постоялец. И приписка на полях: знаю, что Вы не прочтете это, ну что же – молитесь за меня! Дай Бог, встретимся на том свете и поговорим на каком-нибудь общем языке.

Поплавав от души, я вспомнила, что Кайса иногда смотрела на меня как-то странно, как будто с мольбой или вопросом. Но наши визиты в дом престарелых, где она жила последние несколько лет, были такими спешными и формальными. Они были всегда по пути на дачу, которую Кайса оставила нам. Мы отказывались от кофе, сваренного для нас, ссылаясь на различные причины. В день ее именин привозили красиво упакованные васильки, незабудки и ромашки. Кайса не любила «благородных» цветов. После разговора ни о чем мчались дальше. А она подолгу сидела в холле, качаясь в кресле и грустно глядя нам вслед.

Прошло время, я прочитала воспоминания маршала Маннергейма, где он рассказывает о русских пленных на территории Финляндии во время войны. Чтобы спасти их от голода и болезней, маршал отдал распоряжение разрешить некоторым русским работать в качестве батраков на хуторах. Пленным было запрещено появляться в общественных местах, уходить из дома надолго, но как однажды проговорилась Кайса, русские посещали танцплощадки, отправлялись в город за продуктами! Были и романы вопреки войне. Но уже в конце 44 года пленные опять оказались в лагерях, и, как мы знаем, почти все были репрессированы у себя на родине.

Я впервые присутствовала на лютеранских похоронах, когда провожали Кайсу в последний путь. Белый гроб был закрыт. Пастор читал псалмы. Звучал орган, дети пели об ангелах, которые уже ждут Кайсу. Сидящие на широких скамьях тоже пели, уткнувшись в розданные книжки с текстами. Чинно и торжественно возлагались венки на помост, где стоял гроб. Когда дошла очередь до нас, я на-

щупала плотную бумагу в кармане, шмыгнула заложенным носом и пошла самой последней. Тихо, чтобы никто не видел, я вложила письмо в наш венок полевых цветов, украшенный синими и черными лентами.

СВОЯ ПОЗИЦИЯ

1.

В армии командиры любят дисциплинированных солдат и сержантов, а не тех, которым десять раз надо объяснить, где лежит бревно, и двадцать – почему именно он должен это бревно нести.

Однажды, когда снежок в наваленных белых возвышенностях павило весеннее солнышко и часть пришла с обеда, я, чтобы завязать дембельский жирок, расположился на кровати, вальяжно подставив под сапоги табурет. Окно было раскрыто, и весёлый воздух, выдувая казарменную слежатику, навевал приятные мысли... Но только я успел расслабиться, поёживаясь от наслаждения, как краем уха начал ощущать свою фамилию.

Я насторожился, потому что не ходил в отличниках Бэ и ПэПэ и не ждал поощрений, нехотя кликнул «чижа»: пойди, мол, узнай, и получил информацию о том, что я, младший сержант Ухтомцев, должен срочно заступить дневальным по штабу части. С ума сойти! Это с обязанностью убирать офицерский туалет! С такой несправедливостью я не мог согласиться – я был по званию младший сержант, а по сроку службы, что намного важнее, «старый», то есть я отслужил уже полтора года. И мне пришлось встать и отправиться к инициаторам мерзопакостных армейских деяний.

Старший лейтенант Ряскин, нервозный хлюст из карьеристов, мне пытался объяснить, что не хватает рядовых и дневальными в наряд приходится ставить сержантов. Это ему не удавалось, как Ряскин ни пыжился и ни брызгал слюной. Почему дежурным по штабу при этом назначался младший сержант Лебедев со сроком службы полгода, я не спрашивал, а упор в своих возражениях делал на положения устава, не предусматривающие заступление сержантов дневальными. Здесь я проявил себя твёрдым уставником. Вообще, я уважал эту нужную книгу и многое из неё успел вычитать к тому времени.

Спор проистекал на территории штаба, на первом этаже, эмоционально, и командир части приоткрыл дверь и пробасил сипло:

– Оба мне сюда зайдите!..

– Он отказ... – начал было лепетать Ряскин, дрожа перед пыш-

ным командиром.

Шматов прервал порыв его подобострастия жестом руки, поднялся, молча подошёл к антресоли и взял устав, антресоль затрепетала как старший лейтенант Ряскин.

В присутствии нашего командира трепетало всё. Он только, бывало, возжелает поднять грузное подполковничье тело на второй этаж, как всё в расположении уже приходит в движение: «Шматов, Шматов...» – судорожно проносилось по укромным закуткам, каптёрке и ленкомнате. Эффект был, наверное, как от: «Немцы! Немцы! Обходят!..» – во время войны.

Привыкший к такому ужасающему влиянию на окружающих своей личности, Шматов пристально посмотрел бычьими глазами на совершенно свободно себя державшего младшего сержанта Ухтомцева (на меня иногда находила наглость) и обнаружил явное неуважение к Вооруженным Силам, ракетным войскам стратегического назначения и к нему лично. Шматов выпучил бычьи глаза и дико заорал на Ряскина, которого вообще затрясло вместе с антресолью.

– Лейтенант!!! Не видите у своего носа!! Целый день спите! Задницу наели! На губу этого уroda!! Разжаловать!!! И в наряд на сортиры каждый день!! А то сам будешь у меня очко драить!

Так я первый раз в своей жизни попал на гауптвахту (да, потом был ещё и второй).

2.

На гауптвахте встретили меня радушно, как старого доброго знакомого, отобрали ремень, оторвали лычки, хотя я и оставался ещё младшим сержантом. Мест в сержантской камере не оказалось, и проще было из меня сделать рядового, чем досрочно выпустить зарвавшегося служаку, какого-нибудь гвардии авиатора из вертолётной эскадрильи.

Трудно было попасть на губу простому смертному солдату. Это было своего рода элитное заведение для отборных разгильдяев, людей, уважаемых солдатской серой массой, – одно на весь огромный гарнизон; но так я разозлил Шматова, что старшина отдал за то, чтобы меня посадили на трое суток, пакет мыла и пообещал ещё к моему освобождению привезти досок; тогда я без задней мысли отнёсся к этому обещанию...

Потом, по окончании трёх суток, за отсутствие досок мне навбавляли ещё.

Выведут на построение, а там каждый раз называют срок:

– Кошкельдиев!

– Е (они плохо русские буквы выговаривают).

– Трое суток ареста за самовольное оставление части.

– Ухтомцев!

– Я.

– Трое суток ареста за неуважительное отношение к старшему по воинскому званию (ничего себе старший – подполковник целый, как будто это я его сортир заставлял убирать).

И так вот истекают третьи сутки, я уже весь настроившийся выйти на «свободу», мне говорят:

– Пять суток ареста за неуважительное отношение к старшему по воинскому званию.

Как будто это я виноват в том, что прапорщик доски не везёт.

Через два дня, на третий:

– Десять суток ареста за неуважительное отношение к старшему по воинскому званию.

Я уже стал подумывать и свыкаться с мыслью, что мне с такой динамикой срока до дембеля сидеть придётся, досок-то у старшины не было. Хорошо, что потом два придурка из нашей части на машине за водкой в посёлок поехали и перевернулись, и одного из них – водилу Короля – на меня поменяли, чтобы место не терять.

3.

Бывают гауптвахты с ужасным, бесчеловечным режимом. Например, в книге одного предателя не предателя, но человека, по всему видно, повидавшего, описывается киевская гауптвахта. Я первые полгода служил недалеко от Киева, в учебке «Остёр», и слышал об этой «киче»... Не приведи, как говорится... – концлагерь истый. Там, рассказывали, по двору нужно было ходить кругом, по команде падать, отжиматься и получать удары сапогом от десантников, в камерах там арестованные коченели от холода.

А на гауптвахте нашего гарнизона было очень спокойно и хорошо проходить исправление, в камере, наоборот, было жарко, как в сушилке.

Старшим камеры всегда назначали нашего ракетчика. Считалось, что ракетчики интеллигенты и знают математику, как будто солдаты ракетных войск в свободное от караулов, нарядов и дежурств время делают расчёты, чтобы точно попасть ракетой в Лос-Анджелес, а не смазать по Сан-Франциско. Это шутка, конечно, такая ходила – просто начгуб был тоже с пушками в петлицах и нам благоволил.

Через своего старшего все выгодные работы доставались нам. Поутру мы, например, всегда разгружали молочные изделия, пили потом в камере кефир, а иногда даже пепси-колу, – делились, конечно, и со стройбатов, и с летунами, и даже с вэвэшниками – они лагерь неподалёку охраняли общего режима, и вражда с ними была страшная; хорошо, что у них своих хватало «нарушителей» и на кичу их вертухай в караул не заступали.

Предположение Шматова о том, что туалет я буду выдраивать не в штабе, а на губе, не подтвердилось. Этой работой обычно занимались «шнуры» из непривилегированных родов войск, а из старых – разве что чуханы зачморённые (один у нас сидел – в казарме ночью по карманам деньги воровал, бедолага). Но вообще Шматов мыслил реально, он человек был широкого ума, его фуражка имела самый большой в дивизии номер – откуда он мог знать такие несущественные для службы войск тонкости.

Ещё такая была разновидность солдат редкая – музыканты. Сидел у нас один. С красными погонами, но с лирами, а не «капустой» в петлицах. Весёлый был парень и здоровый, в спецназе бы мог по виду служить, но он умел играть на каком-то инструменте – на барабанах или на флейте – и попал в оркестр. Очень он любил с азиатами разговаривать и всегда на их языке, с акцентом:

– Абдурахман, твоя мая понимай? Нравится армия? Харашо, а? Тепло... Старшина добрый – рана будил, Абдурахман кушал...

Те мотали головой: плохо в армии, мол, очень, дома хорошо. А мы смеялись от души. С серьёзным таким видом, помню, говорит:

– Армия – это стадо баран?.. И Абдурахман баран?..

4.

Кормили на губе тоже хорошо, намного лучше, чем в дивизии, правда тарелки и ложки плохо шнуры вымывали (старательных ду-

хов и чижей не было на губе фактически), и есть было неприятно.

Курить не разрешалось в камере, но курил я в срок наказания больше обычного по крайней мере в полтора раза. Каждый день мы выезжали на работу, там через гражданских покупали сигареты и проносили в камеру. Как нас ни шмонали (особенно краснопогонники усердствовали – пехота, когда их караул был), наши молодые лёгкие регулярно наполнялись ароматным табачным дымом.

Правда, скуривать приходилось сигарету полностью, чтобы не оставалось бычка – на иголку окурочек накалывали и тянули губами почти пламень. Чего там только не выдумали. На нарах, то есть пристёгивающихся к стене щитах, у нас было вырезано шахматное поле, мы играли в миниатюрные шашки из хлеба (для изготовления чёрных шашечек в хлебный мякиш замешивался сигаретный пепел), были у нас и кубики с точками, и даже карты – отрезанные пополам для компактности полколоды.

Но в карты было очень опасно играть – всей камере могли наматывать по двое лишних суток, а старшему наверняка впаивали десятку. Любая щель, любая чуть заметная дырочка в стене использовалась как тайник для всех незаконных предметов. Особенно взвэшники были этого дела умельцы и конспираторы (куда там Ленину с его примитивными молочными чернилами).

Вечером после шмона мы спокойно проводили время в камере: играли, курили и просто беседовали, обмениваясь разгильдяйским опытом различных родов войск. Больше всех мне стройбатовцы понравились – лихие ребята. Они себя гордо называли на голливудский манер вэстрэрами, от ВэСтр – военный строитель значит. У них можно было на трое суток из части слинять, и никто не замечал этого. Не как в РВСН: часть, с понтом, постоянной боевой готовности: шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству. Хотя и у нас части разные были. Полк мобильных ракет «Тополь» на шестнадцатой площадке как-то по боевой тревоге в течение дня собирался – к обеду шнуры поподтягивались из самохода, к вечеру – старые с офицерами подошли.

Никакие нормативы нашей армии не нужны с такой мобильностью, мы пока доберёмся до их выполнения, американцы три запуска успеют произвести. Но зато Советская армия была сильна своей непредсказуемостью: «Кто на красную кнопку сапог поставил?!»

Несмотря на динамику моего срока, прошёл он быстро.

В армии нетрудно сидеть в заключении, армия сама заключенные. Да ещё какое! В дисбате, говорят, совсем плохо. Здесь, наверное, как общий режим со строгачём соотношение.

Как-то к нам в дивизию из лагеря взвэшнный офицер приезжал. Согнали всех серо-бурошинельных в клуб. И он лекцию проводил просветительную. Рассказывал, как зэки у них на зоне отбывают наказание.

Цель этой беседы была – застрашать нас ужасами лагерных порядков; в дивизии тогда повысилась преступность, злоумышленники из солдат роты охраны ночью обворовали чепок, а в инженерно-сапёрном батальоне одного чижа забили насмерть. Получилось же наоборот – как реклама. И кино зэкам регулярно показывают, и в рации овощи, и работы интересные, и специальность получить можно. Не зря на губе стройбаговец, отсидевший до службы, говорил, что на зоне лучше, чем в армии, – в армии беспредельней.

* * *

Старшина появился неожиданно. Сначала Короля завели, потом меня вывели. Отдали обратно ремень. Начгуб хотел мне не мой, дерматиновый, подсунуть – ловкач. Но я и тут отстоял свою позицию и получил кожаный ремень, правда, не свой, а более старый. Они там, в сейфе, всех арестованных вместе, как сплетённые в клубок змеи, находились. Где там было мой отыскать – невозможно.

VIKTOR PELEWIN

DER WASSERTURM

Der Wasserturm könnte gut ein Anfang sein, der alles übrige nach sich zieht, denn die Dinge treten in Erscheinung, sobald ihre Namen bekannt werden, nur so erfährt das Geschehen draußen vor dem Fenster seinen Sinn, wo die Soldaten ihr Werk beenden, indem sie die aus weißen Klinkern bestehende Zahl «1928» in den oberen Ring des gemauerten Zylinders einsetzen, nicht ahnend, daß jemand sie bei ihrem Tun beobachtet und sich sein Teil dabei denkt, fast ohne Worte zwar, doch äußerst stichhaltig: daß nämlich jeder Turm und sogar jeder Schornstein anfangs so gebaut wird, als sollte er sich in den Himmel erheben, ein tägliches Hinzufügen neuer Ziegellager könnte zu nichts anderem führen, beschloßen die Erbauer nicht eines Tages fortzugehen, was zur Folge hat, daß irgendein Ziegel der letzte ist, und nur ich bin Zeuge gewesen, wie die Arbeiten eingestellt wurden, keiner außer mir in dem Haus gegenüber weiß, was die leeren Gerüste zu bedeuten haben, so daß die Augen ganz von selber nach rechts wandern, bis ans Ende des mit Erde gefüllten Holzkästchens, in dem überall Apfelkerne stecken, und die Tapete steht etwas von der Wand ab, wodurch eine darunterliegende Schicht Tapete sichtbar wird und der gelbe Rand einer Zeitung aus vorrevolutionären Zeiten, als bärtige Herren mit seltsam geformten Hüten und Uhrenkettchen auf den Westen, ihr Ende vor Augen, inmitten entkleideter Frauen und gepeinigter Arbeiter Champagner tranken, während Lenin und Stalin, am Fenster stehend, die erste Nummer der Prawda lasen und das Weitere kommen sahen, vielleicht sogar mich, wie ich, auf dem Bett der Tante sitzend, an einem endlos langen Sommertag Streifen von fliederblauem Zigarrenpapier auf schlanke Kantholztragflächen klebe und dabei aus dem Fenster schaue, ohne viel auf ihre verworrenen Berichte achtzugeben, wie erst die Weißen ins Dorf kamen und dann die Roten und dann wieder die Weißen und am Ende, wie sie sich ausdrückte, «unsre», die du dir jedes Mal als kernige Typen in roten Hemden vorstellst, wenn dein Blick auf das Photo der Tante rechts neben der verstaubten Tragfläche fällt und du dich fragst, was das in Wirklichkeit bedeuten mag: einfach zu sterben, so wie es ihr wider-

fuhr und uns allen widerfahren könnte, falls wir nicht in unseren Werken unsterblich sein werden, wie die Klassenlehrerin Antonina Porfirewna es meint, die sich nach diesen Worten immer die Brille wischen muß, wodurch eine kurze Pause eintritt in ihrer Jahre währenden Erzählung über die sogenannten Kontinente, wie sie sich aus den grauen Fluten der Ozeane erheben, in denen selbst der größte Frachter der Welt so winzig wie ein Streichholz wirkte, betrachtete man ihn plötzlich aus dem Himmel, angefüllt mit Kranichen, die gen Kanada unterwegs sind, Kampfgeschwadern sowie schwarzen Flecken, die entstehen, wenn man zu lange in die Sonne schaut, welche immer mehr ihre Farbe ändert, je näher sie dem imaginierten Punkt kommt, den sie, rot schon und riesig, nur im Juni erreicht, um einige Minuten lang die Schrankkante zu berühren, seine obere Hälfte in Licht zu tauchen und zu verwandeln in was immer du willst, eine Bastion der Großen Mauer oder einen Felsen irgendwo in Amerika – je nachdem, wo du dein Leben hin haben willst, Hauptsache weg von diesem Ort, der dich angrunzt mit all seinen Schweinen, während du die dreckige Straße entlanggehst, deine Streichholzschachteletikettensammlung unterm Arm, und dir den mit Blut vermischten Rotz über das Gesicht schmierst, und es schreit dir hinterher, was sich stark fühlt zwischen den windschiefen Zäunen, verkündet, dich morgen noch mal so ungestraft wie heute zu verdreschen, weil keiner da ist, bei dem du dich beschweren könntest, und weil ein Erwachsener sowieso nicht unterscheidet zwischen einem prügelnden und einem verprügelten Kind, sofern sie beide das rote Halstuch, Fanfare und Trommel tragen und die Väter in Ruhe ihr stinkendes Bier trinken lassen und sowieso mit einem Bein in der Zukunft stehen, auch wenn sie einfach nur in Reih und Glied vor den Baracken des Pionierlagers angetreten sind und gegen die Sonne blinzeln, der die Stange hinaufkriechenden Flagge folgend oder dem Kater, der über das schon heiße Dachblech des Speisesaals schleicht, um gleich darauf ins Gebüsch hinunterzuspringen, wo sie sich am Abend versammeln, die tagsüber aufgelesenen und brüderlich geteilten Kippen rauchen, die konstruktive Beschaffenheit weiblicher Genitalien diskutieren, den blauen Rauch mit Zahnpulver austreibend, dessen Geschmack noch lange nach Verkünden der Nachtruhe im Mund verbleibt, im Gedächtnis als Appendix archiviert wird zur Gruselgeschichte vom blauen Fingernagel im Bratklops und von den Tschekisten, die nur wegen einer Reifenpanne so spät gekommen sind, und während im finsternen Hof das Rad gewech-

selt wird, hämmern sie an eine Tür und haben es dann dermaßen eilig aufzubrechen, daß der Nachbar sich im Gehen anziehen muß, auf dem Flur, gerade vor deinem Schlüsselloch, in das er, das Maß seiner Heimtücke vollzumachen, sehr gut einen spitzen Bleistift bohren könnte, nachdem er schon zerstoßenes Glas in die Butter gemischt und die Brunnen vergiftet hat, weil er wollte, daß du das typhusverseuchte Wasser trinkst und ein halbes Jahr im Bett liegen muß, den Blick auf das Fenster gerichtet, wo hinter dem dichten Vorhang aus Schneeflocken die Umrisse des Wasserturms nur zu ahnen sind, den man für einen vor der Stadt postierten Wachsoldaten halten könnte, der deinen Schlaf bewachen soll und dich selber mit, damit du dich nicht noch in deiner eigenen Zukunft verkriechst, unter Ausnutzung einer milden Frühlingsnacht, die es dir erlaubt, dich fast ohne Bodenberührung ins schwarze Unterholz eines aus dem Nichts aufgetauchten Waldes zu schlagen, beinahe schon zu erkennen, wohin die wilde Flucht dich führt, ehe du erwachst und ein Blick auf die angelehnte Tür mit den munteren Morgenstimmen und dem Pfeifen des Primuskochers dahinter die Vorstellung weckt, daß der mit Truhen und Kommoden vollgestopfte lange Korridor allmorgendlich vor diese Tür geklappt wird wie ein Fallreep, über das du anschließend in die Tageswelt gelangst, die einzige, die du kennst, und je besser du sie kennst, desto seltener wird es passieren, daß die Tür deines Zimmers sich nach anderswo öffnet, Orten, deren Namen dir unbekannt sind und bleiben werden, da du schon viel zu sehr einem Menschen ähnelst, der auf dem Trittbrett einer anfahrenen Straßenbahn steht und weiß, daß es mit zunehmendem Tempo immer schwieriger sein wird, abzuspringen und seiner Wege zu gehen, solange diese Worte – «seiner Wege gehen» – überhaupt noch irgendeinen Sinn ergeben, oder besser gesagt, den Abglanz eines früher gewußten Sinns, wie er hin und wieder in den Augen der Nebestehenden aufschimmert, die aber doch, da sie die Fahrt fortsetzen, irgendeine Hoffnung zu haben scheinen und, so wie sie dich ansehen, gleiches von dir vermuten, während der eine Wodka ausschenkt, der andere Gitarre spielt, unter deren Klängen die Welt um dich her immer noch am zuverlässigsten zu ginnen pflegt, eine Welt, die du gewählt hattest, bevor Gelegenheit war, sie mit irgendeiner anderen zu vergleichen, einzig mit der Gewißheit, daß alles in ihr furchtbar schnell gehen muß, und die Zeiten sind rau, und die Zeiten sind groß, und obwohl der Filmschauspieler Utjossow davon singt, daß, wer mit einem Lied durchs Leben geht, nie und nirgends

untergeht, gehen die Leute orchestrierterweise unter, bevor sie den Ort erreicht haben, zu dem sie unterwegs waren, und am Ende sind sie trotzdem dort, was kein Wunder ist, da das Land von einem grundlegenden Umschwung zum nächsten, noch grundlegenderen taumelt, immer der Parteilinie hinterher, die so scharf und abgezirkelt ist wie die Ecke deines Zimmers, in der das Grammophon steht mit dem Dutzend Platten, sieh, die erschöpfte Sonne nimmt zärtlichen Abschied vom Meer, nicht gern gesehener Luxus, den du dir leistest von Zeit zu Zeit: eine müde Sonne zu lieblosen, aus dem Karton einer orangenen Hutsachtel geschnitten, der letzten im ganzen Land, und du ahnst, daß das, wovon du endgültig Abschied genommen, sich genauso von dir losgesagt hat, wendest dich ab, siehst einen Dörrfisch auf dem Tisch liegen mit einer zerknitterten Prawda als Unterlage, daneben eine Flasche Bier und sonst nichts, anderes gehört auch nicht auf diesen Tisch, und das ist es allem Anschein nach, was zu verteidigen wäre, wenn morgen ein Krieg ausbräche, denn weder der unter dem Fenster sich wiegende Flieder bedarf deines Schutzes, noch der schmale Lichtstreif, der auf die ihn brechende Scheibe fällt, hinter der Gorkis Gesicht rot-blau-gelb zur Maske erstarrt ist, ein großer Freund unseres Staatswesens, der leider nicht mehr dazu kam, in seinen Büchern zu beschreiben, wie du und deinesgleichen in Sporthemden und weißen Schirmmützen von Millionen Türschwellen ihr Lächeln verschenken an sie und ihresgleichen in schlichten, geblühten Kattunkleidern, und augenblicklich klärt sich alles auf, denn alles Traurige und Unverständliche hat die Eigenschaft zu vergehen, und dein Leben hat nur den Sinn, den du selber ihm gibst, indem du zum Beispiel nachts mit einem klaren Ziel vor Augen über den volkseigenen Broschüren sitzt, statt im Bett zu liegen, und somit riskierst, ein für allemal den Arbeitsbeginn zu verschlafen und im Gefängnis zu landen, bei den Kriminellen, die zu blöd sind zu begreifen, daß in einem Land , auf dessen Geldscheinen ein in den unruhigen Himmel spähernder Kampfflieger abgebildet ist, sowieso keiner reich werden kann, nicht einmal mit einer Armada solcher Piloten in der Tasche kannst du den Lautsprecher über dir zwingen, seinen weitaufgesperrten Schnabel zu halten, und nicht so sehr der Sinn hinter den herabprasselnden Worten lehrt dich das Fürchten, sondern die plötzliche Eingebung, du ganz allein könntest angesprochen sein von diesem Flüstertütenzauberer, der seine Brötchen damit verdient, dich geschickt für ein paar Sekunden glauben zu machen, etwas Großes, Übermächtiges

sprache zu dir, bereit, die Fürsorge über dich zu übernehmen, während es in Wirklichkeit umgekehrt ist, du und deinesgleichen werden gebraucht, sich um dieses Ungetüm zu sorgen, es zu schützen und zu verteidigen, dieses leblose, nicht faßbare, um seine eigene Existenz nicht wissende Etwas, und dabei hast du nur den einen Versuch, der sich Leben nennt, einen hast du und einen hat der mit dem ausrasierten Nacken vor dir in der langen Schlange der zur Sammelstelle Einberufenen, doch der eben aufgeblitzte Gedanke entfällt dir vor Schreck, da du in dem Vordermann einen ehemaligen Schulkameraden erkennst, der nun von neuem dein Kamerad sein wird und den du wenigstens ein Stück zur Seite zerren solltest, damit er nicht so häßlich daliegt neben dem umgestürzten LKW, Füße auf dem Weg, Kopf im Wegerich, der schon zu Friedenszeiten in dieser Böschung wuchs, damit ihm die Ameisen nicht länger über das Gesicht krabbeln, das du von nun an immer vor dir siehst, wenn unsichtbare Flugzeuge über den Köpfen brummen oder wenn einer, der ihm sehr ähnlich sieht, in zivilen Galoschen schlurfend an dir vorbei den Bahnsteig entlang eskortiert wird, nachdem er so dreist war, erst die Vorgesetzten zur Rede stellen zu wollen und dann auch noch zu fliehen, indem er sich in drei Metern Entfernung von dir aus dem letzten Waggon fallen läßt, der dich davonträgt in den Winter, zu den Skiern, Leningrader Fabrikat, zu dem weißen Tarnumhang, in dem du das neue Jahr begrüßt, und während du aus den Schneewehen in den frostklaren Nachthimmel starrst, wo zwei rote Leuchtraketen hängen, glänzend wie Weihnachtsbaumkugeln, fällt dir ein, daß ein nur für Momente in Ruhe gelassener Mensch plötzlich so weit weg sein kann von denen, die ihn in Ruhe gelassen, daß sie an seiner Stelle einen ganz anderen vorfinden werden, der so gar keine Lust mehr hat, den Schützengraben noch tiefer zu graben, der statt dessen versucht, sich zur Wand zu drehen und weiterzuschlafen, weil er vergessen hat, daß neben seinem Bett keine Wand ist, da sind nur zwei schmale Gänge, gerade ausreichend, um neu zu lernen, wie man die Beine anwinkelt und wieder streckt, um anschließend wieder stehen und gehen zu lernen und am Ende den Lastwagen hinterherzurennen, die nur kurz abbrem sen und dann weiterrollen, der Sommersonne entgegen, den Schulterklappen und der Maschinenpistole, die aussieht wie ein Besen mit angesetzter Konservenbüchse und aus der du in zwei Jahren keinen einzigen Schuß abgibst, weil du die meiste Zeit immer nur entweder die Schulbank vor dir hast, wo früher einmal ein «Kolja Tschugunkow, 7a»

saß, der mit violetter Tinte schrieb, und ein anderer, der «ist doof» dazugeschrieben hat, und wo sich jetzt die Listen mit Namen von Lebenden und Toten stapeln, oder den umfunktionierten Billardtisch, dessen Bespannung das Benzin, das aus der umgekippten Patronenhülse läuft, so schnell aufsaugt, daß du schon glaubst, kein gewiefter Saboteur zu sein, wie ein vielsagender Blick des Genossen Kosheurow dir weismachen will, sondern, verdammt noch mal, einfach ein bescheuerter Tölpel, zu dumm zum Lichtanzünden, und erst als du schon eine geschlagene Woche in den aus fremdem Himmel fallenden Schnee starrst, und dein Blick geht von den Kindern, die hungrig sind, aber nicht müde werden, ihn als Baumaterial für Höhlen und Burgen anzusehen, zum Frontkorrespondenten, der so enthusiastisch unter seinem schwarzmaillierten Schild hervor auf die unbekannte Stadt blickt, als sähe er nicht zufällig ein paar Leichen im Böschungsmatsch liegen, sondern die Morgenröte des Sieges über den Grenzpfählen stehen, wovon du dann in der Frontzeitung liest, erst da also begreifst du, daß es Menschen gibt, die die Landschaft, durch die du zum letzten Mal auf ein Maschinengewehr zuläufst, gründlich zuzurichten wissen, so gründlich, daß sie untereinander in einer eigenen Sprache zu sprechen gezwungen sind, ganz wie jene Transportoffiziere in der Fremde, die an einem warmen Maiabend auf einem Spielzeugh Bahnhof sitzen und über irgendwelche Kubikmaße und Waggonaufkommen diskutieren, solche Bahnhöfe gibt es bei uns nie und nimmer, denn diesseits der Grenze ist alles umgekehrt: Das Kinderspielzeug sieht aus wie in der Waggonfabrik hergestellt, und die Leute spielen zu Hause Gefängnis, damit die Notwendigkeit, sie in ein richtiges zu stecken, entfällt, führen Krieg mit ihren Mitinsassen, stürmen und besetzen wie ein Mann die oberen Pritschen, und du mußt dich gar nicht wundern, daß die Frau, der du vier Jahre lang Briefe geschrieben, wobei du dich jedes Mal mühtest, ganz hinein in das gefaltete Papierdreieck zu schlüpfen, daß diese Frau nicht verstehen kann, wieso du ihr aus Deutschland nicht eine Wagenladung Plunder mitgebracht hast, sondern nur eine Uhr im Stahlgehäuse erbeutet und einen alten Photoapparat, den du an die Wand des Zimmers hängst, in dem du geboren und aufgewachsen bist, wofür du einen Nagel in die neuen Tapeten schlagen mußtest, in das rosa Muster, das bald schon deine ganze Umgebung überziehen wird, einstweilen nur gelegentlich auf der Netzhaut deines linken Auges erscheint, erst nach dem dritten Wodka, dessen Geruch sie die Nase rümpfen läßt, weil sie nicht be-

greift, daß ein Mensch seine Vergangenheit vergessen können muß, will er sein Leben weiterleben, in dem es gilt, der dreisten Angestellten aus der Kaderleitung mit einem Lächeln zu kommen, zur Prüfung die Kriegsorden anzulegen und ab und zu ein paar Fliederzweige mit nach Hause zu bringen, die an Vorkriegstinte denken lassen oder aber an ein Maifeuerwerk, was lebt, sofern es das in dieser Stadt überhaupt noch gibt, die für Lastwagen besser geeignet ist als für Menschen, besonders kleine, die Nächte hindurch brüllen in ihren Bettchen, während sie entweder auf die an der Zimmerdecke entlangwandernden Lichtquadrate starren oder in das Gesicht der Mutter, bemalt mit Lippenstift und Wimperntusche, die irgendwelche Gauner auf dem Bahnhofplatz ihr angedreht haben, wo neuerdings unglaubliche, einem Traum entwichen scheinende himmelblaue Pobeda-Limousinen kreuzen und die Fenster in den Häusern heimelig erleuchtet sind, glauben machend, daß nie wiederkommt, was war, oder andersherum gesagt, daß alles vorbei ist und nichts von dir übrig als das, worüber du Jacke und Hose ziehst, bevor du zur Arbeit gehst, und, wenn du zurückkommst, den Schlafanzug, der ein chinesischer Skianzug sein könnte, und in dein Bett plumpst neben einer Person vom anderen Geschlecht mit ausladendem Hinterteil, eine Erfahrung, die du mit so vielen teilst, daß es sogar ein besonderes Wort dafür gibt: «meine Frau“, zur Kennzeichnung dessen, was du beim Anblick dieser toupierten Fransen empfindest, mit dem Duft des Parfüms «Kolchosniza» in der Nase, der so tief in allem steckt, daß das Zimmer, worin vier Personen essen und atmen, an einen Frisörsalon am Tag von Stalins Beerdigung denken läßt, der übrigens ein todunglücklicher Mann sein muß, da er doch all seine Staats- und Parteiämter aufzugeben gezwungen ist wegen eines profanen Todesfalls, in dessen Folge sich plötzlich herausstellt, daß in jeden granitenen Hintern mühelos ein Maiskolben hincinpaßt, was man schon viel früher hätte wissen können, wäre nur ein bißchen Zeit zum Innehalten gewesen, die aber leider nicht zur Verfügung stand, nicht mal den Kindern, die mit ihren Schulranzen aussehen wie kleine Kosmonauten, gelandet und ausgesetzt auf dieser häßlichen Erde zum friedlichsten Zeitpunkt ihrer Geschichte, und die es in der kurzen Zeit ihres Hierseins schon geschafft haben, eine neue, unbegreifliche Welt um sich her zu errichten, eine, von der du nie etwas wissen wirst, so daß es klüger wäre, sich den wenigen Freuden zuzuwenden, die das Leben noch zu bieten hat, und sich möglichst wenig aus dem Fenster zu lehnen, denn freiwillig aus dem

Leben zu gehen ist Sache der Schwachen, Starke werden aus dem Leben gezwungen, und deine besten Jahre brechen doch gerade erst an, wo unten ein cremefarbener Wagen mit fliehendem Elch auf der Motorhaube für dich parkt, gesundheitlich alles zum Besten steht, von hinten wirst du manchmal noch als «junger Mann» angesprochen, weil deinen Hinterkopf noch Haare zieren, und außerdem bist du gefragt bei denen, die dich an den Händen zerren, Papa zu dir sagen und sich ein lustiges Mitbringsel von deiner Arbeit wünschen, wo ein Formular mit dem Aufdruck «Geheim!» noch zum Lustigsten gehört, denn derart bissige Hunde schlüpfen dort, in Anzüge kostümiert, über die Flure, daß man selber unentwegt knurren muß, um nicht versehentlich angefallen zu werden, aber das tut man sowieso, weil man sich des Lebens freut, was man sich selbst und anderen ständig beweisen muß, um es mit einer Demonstration desselben vergolten zu bekommen, immerzu muß man lächeln, muß sich einen Schnurrbart stehen lassen, im Hauskomitee mit Anträgen herumwedeln und so weiter, nur so werden sich vielleicht zwei oder drei Idioten finden, die dich besuchen kommen und sagen, du lebstest wie ein König, woraufhin du dir ausmalen kannst, was ein König fühlt, der schon das zehnte Jahr im gemächlichen Trab durch die fliedergesäumten Alleen reitet, Leute im Blick, die den Tag, an dem er der jüngst ins Jenseits abgetretenen Königin folgen wird, überleben werden, und damit du dieses Gefühl ja nicht wieder vergißt, mit keinem anderen verwechselst, hast du Kinder, die schon davon träumen, die Wohnung gegen mehrere kleine einzutauschen, dabei hast du sie mühsam genug zusammengerafft, ein freiwerdendes Zimmer nach dem anderen, hast sie zusammengesetzt wie im Kindergeduldsspiel die Würfel zu einem großen Bild, in der Hoffnung, daß es am Ende aufgeht, und als es endlich aufgegangen war, mochtest du nicht mehr hinschauen, weil du ahntest, was für ein Bild herausgekommen war, und nun bist du gezwungen, die schon schimmelnden Teile der Welt von dir abzuspalten, um auf dem schmalen Grat des Sinns die Balance zu halten, Fernsehen zu gucken und zu spekulieren, ob die anderen das gleiche fühlen, und wenn ja, warum sie dann mit soviel Sorgfalt ihre letzten verbliebenen Haarsträhnen über die Glatze kämmen und beim Lächeln ihr Plastikgebiß zeigen, das sie, wie im übrigen auch du, nachts in eine nach Flieder duftende Speziallösung legen, worauf sie noch lange vor dem Becher stehen und sinnieren, woran sie dieser Duft erinnert, und es fällt ihnen nicht ein, statt dessen erhebt sich der Gedanke, daß man inzwischen

ebenso sehr in Zweifel ist, ob das Leben existiert, wie man früher die Existenz des Todes in Zweifel gezogen, und von dieser Erkenntnis wird dir dermaßen angst, daß du gleich drei Dinge auf einmal tust: eine Zigarette anzünden, den Fernseher einschalten und ein kürzlich gekauftes Buch aufschlagen, die Kunde von Ihm erscholl durch ganz Syrien, steht da zu lesen, und sie brachten zu Ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und Er machte sie gesund, und es folgte Ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans, von wo die Stimme des arabischen Volkes immer lauter und wütender herüberdringt, kurzzeitige Niederschläge verspricht und achtzehn bis zwanzig Grad Celsius – genau das Richtige für den rituellen Ausflug ins Häuschen vor der Stadt, wo du als unvermeidliches Übel empfangen wirst und, aus dem Fenster schauend, einen Pilz stehen siehst, direkt neben der Hauswand, wie ein kleiner Mensch oder wie ein kleiner Wasserturm, was im Grunde ein und dasselbe ist, wenn man bedenkt, daß der Mensch nicht viel anderes ist als eine zwei Meter hohe Wassersäule, fähig, selbsttätig auf der Erdoberfläche zu wandeln, durch die hereinbrechende Dämmerung zur Bahnstation beispielsweise, wobei du der Musik lauschst, die von irgendwoher an dein Ohr dringt und sich herzlich wenig dafür eignet, eines deiner momentanen Gefühle darin unterzubringen, weshalb sie dir fremd und widerwärtig vorkommt, aber anscheinend trotzdem schön ist, schon weil es überall Leute gibt, denen selbiges ohne Mühe gelingt, und dies auch an Tagen, da du dich so klammheimlich, wie andere ihren Portwein trinken, in Treppenhäusern und Fahrstühlen bekreuzigst, einen schwarzen Mantel tragend, der sich schamlos als dein letzter zu erkennen gibt, und allen Ernstes glaubst, einen Halt finden zu müssen in jenem zum Spaß und zur Erbauung erworbenen Buch, nachdem du wieder vergeblich versucht hast, die anzurufen, die einmal deine Kinder gewesen, nur um deine eigene Stimme munter und selbstgewiß im Hörer klingen zu hören und aufs neue erfahren zu müssen, daß nichts und niemand dich noch braucht auf dieser Welt, die enger wird, je weiter dein Blick über die Tapeten hin auf das helle Viereck des Fensters hinter der Gardine zurückt, an die du dich klammerst in der Hoffnung, es möge noch einmal vorübergehen, solltest du es vermeiden können, daß deine Augen noch weiter nach rechts wandern – in dem Moment nämlich, wo einer anfängt, das dreieckige Fenster in dem kleinen grünen Turmdach als jenes Auge anzuse-

hen, welches seit seiner Geburt auf ihn gerichtet ist, spielt es keine Rolle mehr, wie er fällt und daß der letzte Gegenstand, den er auf Erden gesehen, ein Wasserturm ist.

DIE BRÜCKE, ÜBER DIE ICH HATTE GEHEN WOLLEN

In einem seiner Romane nennt Milan Kundera die Frage eine Verstehensbrücke, geschlagen von Mensch zu Mensch. Dieser Vergleich funktioniert in beide Richtungen. Die Frage ist wie eine Brücke, die Brücke ist wie eine Frage, die der Mensch an Zeit und Raum hat: Was ist da drüben auf der anderen Seite? Es gibt allerdings auch Brücken, die eher wie Antworten sind.

Als ich zwölf war, stieg ich jeden Tag aufs Fahrrad und fuhr die Chaussee entlang zu dem Kanal, der einmal von Gulag-Häftlingen gebaut worden war. In Höhe des Kanals schwang sich die Chaussee auf und darüber hinweg, wozu sie sich in eine von zwei Stahlbögen gehaltene Brücke verwandelte – wie ein Flitzbogen, mit der Sehne nach unten. Unter ihr verlief ein Streifen gelber Flußsand, zu dem ich hin wollte. Ganze Häuser baute ich aus dem Sand, die jedesmal wieder zerstört wurden, wenn ein Flußdampfer oder ein großer Lastkahn vorbeikam. Stundenlang lag ich am Ufer, sah die Sonne sich in den Fensterscheiben am gegenüberliegenden Ufer spiegeln, die fernen Holzzäune, das staubige Grün der Obstgärten. So seltsam es erscheinen mag: Nie habe ich diese Brücke überquert, auch wenn ich manchmal Lust dazu hatte.

Fünfzehn Jahre später befuhr ich erneut diese Chaussee – und wieder per Fahrrad. Mir fiel die Brücke ein, die ich damals immer hatte überqueren wollen. Der Gedanke, es nun endlich einmal zu tun, erfüllte mich mit nicht vorherzusehender Freude. Ich wußte: Indem ich das tat, verwischte ich die Grenze zwischen dem, der ich heute, und dem, der ich damals war; es würde bedeuten, daß der Junge von damals und ich doch ein und dasselbe waren. Ein alchimistischer Akt! Den Vorge-schmack auszukosten, fuhr ich langsam. Kurz vor dem Ziel fiel mir eine Merkwürdigkeit auf: Die Chaussee wurde breiter und zog nach rechts, während sie früher geradeaus verlaufen war. Und dann sah ich sie, die neue Betonbrücke, über die die Straße nunmehr ging. Die alte stand hundert Meter weiter links – sie hatte sich überhaupt nicht verändert, nur daß die Straßenanschlüsse zerstört waren, zu beiden Seiten der Brü-

cke das schroffe Nichts. Dies war nun eine gute Antwort.

Allerdings habe ich den Verdacht, daß es sich bei der Lethe nicht um jenes Gewässer handelt, in das wir nach dem Tod eintauchen, nein, es ist der Fluß, über den wir zu Lebzeiten setzen. Mit der Brücke unter den Füßen. Aber ob es Ufer gibt? Eine Grenze überschritten zu haben, kann ich mich nicht erinnern. Grenzen, auf die ich mich zubewege, sehe ich nicht. Ließe sich behaupten, daß ich irgendwoher komme, irgendwohin gehe? Und trotzdem tröstet es mich, das Leben mit einem Brückenspaziergang zu vergleichen, dem Gang über jene Brücke, über die zu gelangen ich schon nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Eigentlich, so denke ich manchmal, habe ich im Leben nie etwas anderes getan, als mit meinen Schritten jenes in der Luft hängende, ins Nichts führende Stück Straße auszumessen – die Brücke, über die ich so gern hatte gehen wollen.

Übersetzt von Andreas Tretner

Viktor Pelewin – 1962 in Moskau geboren. Studierte Elektrotechnik und später am Moskauer Literaturinstitut. Seit 1990 freier Schriftsteller. Wurde mit verschiedenen literarischen Preisen ausgezeichnet. In deutscher Übersetzung erschienen u.a. die Romane «Omon hinterm Mond», «Buddhas kleiner Finger“ und «Generation P» sowie mehrere Erzählungsbände.

СЕРГЕЙ ВИКМАН

* * *

Ты пришла среди сна
ускользнула с рассветом
отражалась луна
в платье спешно надетом
быстро утром туман
тает поздней весною
был наверно я пьян
или болен тобою
промелькнула во сне
ускользающей дымкой
гребень твой на окне
тенью кажется зыбкой

* * *

Все течет изменяясь вода
отражая осенние листья
ивы мокнут поникшие кисти
в акварели размытой дождя
лес под ветром дрожа облетает
мокрых галок сиротский платок
в темном небе теряется, тает
солнца еле заметный мазок

* * *

мэйхуа расцветает в весеннем тумане
хризантема в осеннем тумане цветет
начинать и заканчивать год
место их в ежегодном привычном романе
а себе в жизни место никак не дается найти

и зря ищешь свободную вечером нишу
пусть не очень надежную на зиму крышу
под которую можно за счастьем зайти

* * *

как говорил Ли Бо однажды
для доброй выпивки нужны
луна на небе чувство жажды
и в доме тени от луны
но изучая эту лемму
не исчерпать ее до дна
не жажда создает проблему
и к вечеру луна видна
а вместе с нею тени тая
таят себя среди вещей
но пить не тянет ощущая
пустыню в комнате своей

* * *

под сводами и арками взмахнув
корицей рыбами и терпкой курумой
под утро Акко кажется
загадочно немой средой
чужого в этой жизни обитанья
и паруса за молом распахнув
и сети поразвесив за кормой
как древние библейские сказанья
рыбачьи тянутся баркасы чередой
скользя на ежедневное свиданье
со Средиземным морем и судьбой

* * *

цвели в саду и розы и левкои
паштет из соловьиных языков
нетронутым остался и в покои

с утра тянулись толпы дураков
Теренция комедию смешную
давал в соседнем городе Мирон
там в лупонарии блондиночку такую
куда там самой лучшей из матрон
Катулл воспел Алексия лаская
и ничего вокруг не замечая
жизнь изучал со всех ее сторон
в ней перемен совсем уже не чая
а рядом Клио шла покойная такая

* * *

ну что подружка снова с ветхой
пустой котомкой дальше побредем
не первый раз мы оставляем дом
со сломанной сиреневою веткой
со сломанными будто невзначай
часами потемневшую в углу
икону заржавевшую от времени иглу
забытую в стене и недопитый чай
и ворох книг нависший пьяной кипой
над облупившимся от старости столом
который пахнет давним детством и жильем
и летнею рассохшеюся липой
там жили мы с тобой когда-то
здесь еще живем

* * *

Чанъань* кабак восьмой наверно век
от рождества естественно Христова
кабатчик смотрит вовсе не сурово
из под слегка припухших узких век
на двух пьянчужек приступивших снова
к сравнению Ли Бо и трезвого Ду Фу

вновь яшмой каждую их ставшую строфу
они смакуют зрелища такого
привыкли ждать у Западных ворот
облезшая коза шесть куриц и корова
вино весеннее из чайника размеренно течет
и мира неизменной кажется основа
раз вишня во дворе по-прежнему цветет

НИКОЛАЙ БУТОРИН

* * *

Снегопад словно взор исподлобья
рассекает осеннюю слякоть.
Невесомые снежные хлопья
оседают на прелую мякоть,
на державные строгие лица,
на гранитные львиные морды...
– Петербург, ты уже не столица!
– Ничего... Так спокойней, милорды.

2003

* * *

Настанет срок. Растает грим.
Умолкнет гул восторга.
И содрогнётся Третий Рим
от жёлтых орд Востока,

и сгинет – сколько бы ни выть,
надрывно и натужно...
Ну а Четвёртому – не быть.
Да это и не нужно.

Заглохнет жидкое «ура»,
и вытянутся морды,
и потекут через Урал
лопочущие орды.

Не нам, в могуществе своём
извечно убеждённым,
десятерых валить вдвоём...
Что ж, горе побеждённым.

Исчезнет Родина моя –
и с вечностью сроднится.
Перевернётся бытия
печальная страница.

Качнётся стрелка на весах.
Остынут наши трупы...
И замолчат на небесах
архангельские трубы.

Мужайся, витязь Пересвет!
Славянской крови запах
поделит тотчас белый свет
на Азию – и Запад.

А дальше – век последних драк.
И ядерные шутки.
И – мрак. Холодный чёрный мрак.
Бессмысленный и жуткий...

1996

* * *

Давным-давно – во сне ли? наяву ль? –
когда ещё не выдумал болеть я –
сквозь марево танцуй и наливуль
мелькали дни (а может и столетья

кружились словно детское серсо) –
нет, в памяти осталось только это:
какое-то лесное озерцо,
всё в жёлтых пятнах солнечного света...

2003

ВЕРА ЛУРЬЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

Начало в №№ 10 и 11

Глава 18

ЛИАНЕ БЕРКОВИЦ

После печальной главы о времени национал-социализма я хочу рассказать историю семьи Берковиц. Генри Берковиц давал показания в пользу Познякава во время судебного разбирательства. Берковиц, богатый человек, был по профессии маклер. Во время НЭПа он разбогател в Советском Союзе. Берковиц был русским евреем, но у него был латвийский паспорт. Когда жизнь в Советском Союзе стала для него невыносимой, он решил покинуть Россию. Он прибыл в Берлин вместе с очень красивой женщиной Екатериной Васильевой. В Москве она была известной певицей и была замужем за дирижёром Виктором Васильевым, который не вернулся в Россию после турне по США, не предупредив её об этом.

Берковиц был влюблён в эту красивую женщину. Васильева вступила в связь с ним, не чувствуя к нему настоящей любви, а просто потому, что Берковиц мог предложить ей беззаботную жизнь. Чтобы спасти своё состояние, Берковиц купил бриллианты и с помощью своей возлюбленной тайно провёз их в Германию. В Берлине у Васильевой родилась дочь Лиане Берковиц.

Лиане выросла в шумной семье, в которой часто бывали ссоры и скандалы. Дело доходило до того, что её родители на кухне кидали друг в друга кастрюли и тарелки. Однажды Васильева была на богослужении в русской церкви на Гогенцоллерндамм и там потеряла своего ребёнка. Не обращая внимания на молящихся, она бегала по церкви и кричала: «Куда подевался этот жидовский выродок!» В такой атмосфере выросла Лиане, и часто она нехорошо отзывалась о своей матери.

Берковиц женился на Васильевой и передал ей всё своё состояние, чтобы спасти его от нацистов. Постепенно он переводил все свои дела в Лондон и в Берлине бывал редко. Он не хотел оставлять свою дочь в Германии. Однажды он забрал Лиане из школы и по-

местил в интернат в Швейцарии. Но она пробыла там недолго. Её мать тут же забрала Лиане обратно, потому что в Швейцарии якобы питание и другие условия были плохими.

Берковиц был предусмотрительным человеком. Чтобы гарантировать Лиане чисто арийское происхождение, он просто удочерил свою собственную дочь. Официально она была ребёнком от первого брака госпожи Берковиц, то есть дочерью дирижёра Васильева.

Лиане была довольно экзальтированной девушкой. Так, она рассказывала, что видела Позняка на улице, хотя он уже давно сидел в тюрьме. Довольно рано она заняла непримиримую позицию против нацистов и тайно помогала евреям, которые от них прятались. Она приносила им еду. Всё то, что происходило в душе Лиане, её чувства и мысли были её матери совершенно безразличны.

Чтобы получить аттестат, Лиане посещала вечернюю школу. Её школьные товарищи были преимущественно дети рабочих, с которыми она подружилась. Некоторые были коммунистами и боролись в подполье против нацистского режима. Лиане, которая всегда была идеалисткой, присоединилась к ним. Тогда я ещё не понимала, что эти люди были членами «Красной капеллы». Я знала только, что они ночами расклеивали листовки, в которых призывали свергнуть Гитлера. Вся группа училась у меня русскому языку.

Тогда многие учили у меня русский язык, среди них были также и нацисты. Немцы хотели захватить Россию и Украину, стало быть, кто-то из немцев должен знать русский язык. Одно время был спрос на русских учителей. Но это были опасные годы, и прежде всего для нас. В 1940-41 годах немцы одерживали победу за победой, флаги со свастикой развевались перед окнами. Преследования и уничтожение евреев шли полным ходом.

Однажды моя мать увидела в учебнике русского языка Лиане фотографию советского маршала Тухачевского. Лиане тогда было, кажется, лет 17. Моя мать беспокоилась за неё и предупредила: «Лиане, ты должна быть осторожной! Мы здесь не в Швейцарии!» Лиане отвечала: «Мы осторожны. Мы ведь тоже хотим жить». «Помни о том, что Германия воюет с Россией. Мы все из России, а я – еврейка», – сказала моя мать.

Мой отец умер в 1937 году от стенокардии, а брат Сергей покинул Германию, когда ему было 18 лет. Я была дружна с женой Бертольда Гессе, двоюродного брата писателя Германа Гессе. Она

помогла моей сестре найти работу горничной в Лондоне. Итак, я осталась одна с матерью в Берлине в разгар нацистского террора и жила с ней в той же квартире, где живу сейчас.

Позже война допла до Берлина.

Мы жили исключительно на деньги, которые я получала за мои уроки языка. Я зарабатывала одну марку в час. Моя мать хотела сдавать маленькую комнату в нашей квартире за 15 марок в месяц. Лиане Берковиц просила нас принять одного из её друзей Гельмута Маркорда. Гельмут был влюблён в Лиане и делал всё для неё, хотя она не отвечала на его любовь. Его мать была еврейкой и давно умерла, а его арийский отец хотел, чтобы они разъехались, потому что не ладили друг с другом. Кроме того, отец боялся политической активности Гельмута. Я спросила Лиане, могу ли я сдать комнату Гельмуту, не опасаясь, что возникнут трудности с гестапо. Лиане ответила, что Гельмут ничего общего с политикой не имеет, он интересуется только радиоаппаратурой.

Мой страх понятен, в это трудное время мы были в особой опасности. Кроме того, у нас не было гражданства, у меня его нет и сейчас. Но у Лиане и её группы были свои представления. Они считали, что не только они сами, но и другие тоже должны жертвовать собой ради идеи (в данном случае жертвами могли стать мы с моей матерью).

Итак, Гельмут Маркорд, совсем юный радиотехник, который по ночам чаще всего возился со своим аппаратом, поселился у нас. Несмотря на опасения, он не вызывал у меня недоверия – я была так наивна. Еду он готовил тоже по ночам, случалось, что он забывал еду на плите и она подгорала. Однажды наша кухня была полна дыма. Несколько месяцев Гельмут жил таким образом у нас.

Однажды утром весь бледный он постучал в дверь комнаты, где спали мы с матерью, вытащил меня из постели и сказал: «Гестапо здесь!» Его комнату обыскивали два человека, потом они прикрепили пломбу на дверь и забрали Гельмута. Через час один из этих мужчин пришёл опять, допросил меня и составил протокол. Он спросил меня, почему мы покинули Россию и нравится ли нам Германия. Мой ответ был однозначен – в России было ужасно, в Германии замечательно. Всё это время моя мать не выходила из своей комнаты и, к счастью, оттуда ничего не слышала.

Гестаповцы спрашивали, как я познакомилась с Маркордом.

Я рассказала им, что он знакомый одной из учениц, которая берёт у меня уроки русского языка. Если бы я соврала, это было бы для нас с матерью катастрофой и для других было бы не лучше. Меня спросили, знала ли я, что мать Маркорда была еврейкой. Я ответила, что ведь отец его ариец. В конце я показала им фотографию моего отца в военной форме, увешенной орденами, которая висела над кроватью. Я не преминула довести до сведения гестаповцев, что мой отец принадлежал к царскому кавалерийскому гвардейскому полку. Произвело ли это тогда на них впечатление, я не могу сказать. Комната Гельмута осталась опечатанной, но его отец тем не менее платил за неё и дальше.

Долгое время я не слышала ничего о Гельмуте. Потом его отец получил разрешение на свидание с сыном. Гельмут был ещё в предварительном заключении. После разговора с ним его отец пришёл к нам. Тем временем комнату Гельмута гестаповцы открыли, она уже не была опечатана. Маркорд прошёл в комнату, в которой раньше жил его сын, открыл маленькую печку и вытащил передатчик, который смастерил Гельмут. Это был передатчик «Красной капеллы», гестаповцы не нашли его во время обыска, хотя перевернули всё в небольшой шестиметровой комнате. Это было просто чудо. Если бы гестаповцы немного тщательнее искали, мы с моей матерью наверняка были бы тут же повешены внизу во дворе. Отец Гельмута забрал передатчик и уничтожил его.

Александр Бахрах писал мне из Франции, что у него волосы встали дыбом, когда он узнал, что у нас были гестаповцы. Он понимал, в какой опасности были мы с матерью.

Гельмута отправили в концлагерь, хотя доказательства против него не были предъявлены. Подтверждённого знакомства с активистами «Красной капеллы» было достаточно. Позднее его освободили из концлагеря, потому что во время одной из бомбардировок ему разорвало лёгкое. Отец Гельмута хотел, чтобы я вновь поселила его сына у себя или, по крайней мере, зарегистрировала в своей квартире. Я отказала ему, это было слишком опасно. Я была крайне возмущена тем, что группа Лиане Берковиц использовала в качестве прикрытия своей политической деятельности именно нас, находившихся и без того в огромной опасности. Хотя всё для них кончилось трагически, я была очень зла, понимая непорядочность этих молодых людей.

Вскоре после этого Лиане была арестована. Гестапо напало на её след, когда имя Лиане Берковиц было обнаружено в письме, перехваченном в почтовом ящике одного её знакомого, который, как уже было установлено, работал для «Красной капеллы». Молодым людям сделали очную ставку.

Лиане была дружна с Фридрихом Ремером. Он был солдатом, друзья называли его «Ремус». Он тоже входил в группу учащихся вечерней школы. Ремер был ранен и лечился в госпитале. Лиане была беременна от него. На Ремера гестапо не могло так быстро выйти, именно потому, что он был солдатом. Все остальные из группы были уже арестованы, только Ремер был на свободе. Он просил меня разрешить ему официально посещать уроки русского языка, чтобы, выходя из казармы он мог посещать Лиане в тюрьме. И здесь я тоже отказала, это было слишком опасно для нас. В конце концов Ремер тоже попал в руки гестапо.

Во время ареста Лиане её мать часто ходила в гестапо и носила гестаповцам подарки. Ей всё время обещали выпустить дочь. Потом Лиане стала носить чёрную повязку на руке, и мать при очередном посещении спросила, что означает эта повязка. Лиане ответила, что её приговорили к смертной казни. Все её друзья были уже казнены, Лиане не была казнена только потому, что должна была родить ребёнка. Её матери продолжали обещать отпустить Лиане. После рождения ребёнка ей разрешили ещё три месяца его кормить.

Отец ребёнка Фридрих Ремер был уже казнён. Лиане удалось тайно послать матери из тюрьмы несколько записок. Эти письма, кажется, хранятся сейчас в Иерусалиме в музее. В них она писала, что причинила матери много страданий, за что просит прощения. В её последнем письме она пишет, что Бог рядом с ней, она спокойно ждёт смерти и верит, что Христос выйдет ей навстречу. Прекрасно, что ей позволили изведать счастье стать женщиной и матерью. Я едва могла поверить, что это письмо написано молодой девушкой, ожидающей смертную казнь. Её казнили на гильотине в тюрьме Плётцензее. Так или по-другому погибли многие молодые люди в то время. Лиане была самой молодой в «Красной капелле», она получила приговор из-за нескольких плакатов, которые расклеила на Курфюрстендамм и Уландштрассе.

Это было время самых тяжёлых бомбардировок Берлина. Екатерина Берковиц после смерти дочери была в жалком состоянии,

её здоровье пошатнулось, она постоянно плакала и стонала. Было просто ужасно видеть, как она сидит перед зеркалом и подкрашивается. Она считала важным, как и прежде, хорошо выглядеть, когда спускалась в подвал во время бомбёжек.

Мать Ремера, водитель трамвая, хотела взять ребёнка себе, но госпожа Берковиц отдала его в приют, находившийся вне Берлина, где было не так опасно попасть под бомбёжку. Там он вскоре умер.

Глава 19

ТЕРЕЗИН

Я продолжу писать о том, что давно миновало, о страшных временах, когда нацисты забрали мою мать

Ещё в начале войны наша управдом, очень симпатичная, болезненная женщина Марихен Шмальцер принесла нам на дом карточки на продукты. Вверху на карточке моей матери стояла большая буква «J», то есть еврейка. Когда Марихен с карточками в руках позвонила нам в дверь, и моя мать открыла, то та сказала сначала «Хайль Гитлер», а потом извинилась и поздоровалась: «Гутен таг».

У меня сохранилась фотография Познякава, он сидит на скамейке, на которой стоит буква «J». Евреям можно было сидеть только на таких скамейках. По этой логике моя мать должна была сидеть на одной скамейке, а я на соседней. Поэтому мы отказались вообще от сидения на скамейках. В 1944 году было запрещено приносить продуктовые карточки еврейским семьям на дом, мы должны были их получать сами в соответствующем пункте на Иоахим-Фридрих штрассе. На некоторых магазинах были надписи: «Вход евреям нежелателен». Это было ещё довольно мягко, поскольку на многих других магазинах висело: «Вход евреям запрещён». Моя мать получала талоны только на чёрный хлеб, белый хлеб и сладости евреям не полагались.

Тогда вышло распоряжение, по которому все еврейские семьи обязаны были зарегистрироваться в школе на Пфальцбургер штрассе. Эта регистрация имела свой дьявольский смысл: все евреи должны быть на учёте. В день нашей регистрации я должна была показать нашу собаку, помесь шнауцера, командованию вермахта на

Гогенцоллерндамм. Там должны были определить, годна ли собака для использования на войне. Когда солдат увидел собаку, он написал на карточке: «Собака – помесь, для вермахта не пригодна», и я была очень довольна этим заключением. Когда мы снова вышли на улицу, я пожалала Мухе лапу и сказала ей: «Мы с тобой обе помеси».

Однажды в субботний день в январе 1944 года я пошла принести уголь. Во дворе навстречу мне шагали два человека в кожаных пальто, они спросили, где в этом доме живут Лурье. Я ответила им, что я как раз Вера Лурье. Тогда они сказали, что пришли забрать мою мать, и я не должна оказывать сопротивление. В прежние, более ранние нацистские времена евреев, которые живут с детьми от смешанных браков, в концлагеря не забирали.

Всё произошло очень быстро. Я побежала в молочный магазин, чтобы купить матери немного еды на дорогу. Сначала её забрали в полицейский участок, потом на Гроссе Гамбургер штрассе, где находился сборный пункт, а оттуда задержанных отправляли в концлагерь.

Можно себе представить, в каком состоянии я была. Я побежала к одной своей знакомой и попросила её поехать со мной в Финкенкруг. Туда уезжал на выходные дни немецко-русский зубной врач Гуго Менчель, член партии, имевший золотой значок. Он лечил зубы многим русским эмигрантам в Берлине, правда, делал это плохо. Он больше портил, чем лечил. Но мы были знакомы много лет, и в нацистские времена он остался порядочным по отношению к нам. Я просила его что-нибудь предпринять, чтобы освободить мою мать. Он сразу же поехал со мной в Берлин на Гроссе Гамбургер штрассе. Там он смог всего лишь узнать, что мою мать в понедельник ещё не отправили в концлагерь.

Тогда я пошла к шведскому консулу, который во время войны представлял интересы советских граждан, находившихся в Германии. Он проявил озабоченность и был готов помочь, хотя русские эмигранты не входили в его компетенцию. Он позвонил соответствующему сотруднику в сборном пункте лагеря и просил его попытаться освободить мою мать. Он должен был рассматривать это как личное одолжение, поскольку Менчель якобы хорошо знал моего отца. Тот человек ответил, что для Марии Лурье он не в состоянии что-либо сделать. Поскольку она лицо без гражданства, то её делом занимается служба безопасности. Он не мог нам помочь.

На следующий день я была опять у сборного пункта, перед которым стояла большая очередь. Люди пришли попрощаться со своими родными. В толпе было много молодых людей в униформах, поскольку нечистокровные немцы в то время тоже были призваны в армию и отправлялись на фронт. Раньше моя мать не носила жёлтую звезду, теперь же в сборном пункте ей пришили шестиконечную звезду на одежду. Я очень любила мою мать и хотела вместе с ней ехать в концлагерь. Чиновник, которому я это сказала, сообщил, что перед этим я должна уничтожить нашу собаку, поскольку её нельзя оставить одну в квартире.

К счастью, я не могла убить нашу любимую собаку. Если бы я тоже попала в Терезин, то ни я, ни мать не выжили бы. А так я могла немного помочь моей матери тем, что посылала продукты. Но даже это было не так просто, я должна была сначала получить письмо с личным номером заключённого концлагеря, а потом уже на этот номер можно было отправлять посылки с продуктами. Этого письма надо было ждать, кажется, целый месяц, а тем временем находившийся в лагере заключённый голодал.

Поэтому в тот же день, когда моя мать была отправлена в лагерь, я пошла снова на Гроссе Гамбургер штрассе и спросила у того самого компетентного специалиста по еврейским делам, на какой адрес я могу послать что-нибудь моей матери. Ему не разрешалось давать такую информацию. Он сказал мне: «Вы ведь видели номер на одежде вашей матери, номер ...», – и назвал этот номер. Я могла тут же послать моей матери продукты. Он был очень порядочным человеком. Люди, которые занимались оформлением документов в сборном пункте, были сами евреями и работали под началом гестапо. В конце войны они были тоже уничтожены, но пока что им разрешалось жить.

Когда узники получали посылки, они должны были расписаться на специальном формуляре, что подтверждало их получение. Таким образом, я знала, что моя мать жива и получила продукты. Я посылала два раза в неделю посылки весом по 1 кг. В основном это были продукты, полученные на мою продуктовую карточку, иногда я меняла на еду полагающиеся мне сигареты у одной женщины, муж которой страдал лёгочным заболеванием и получал дополнительные талоны на питание. Она сама была заядлая курильщица и охотно меняла рис и манную крупу на сигареты. Я не писала писем матери,

потому что не была уверена, что она их получит, кроме того, у меня не было никаких сил писать.

В последние месяцы войны был такой хаос, что не было никакой возможности посылать посылки в Терезин. Железнодорожное сообщение и почтовая связь были прерваны, я не знала, жива ли ещё моя мать. Абсолютно ничто больше не действовало: водопровод не работал, почти не было электричества, даже свечи были редкостью. Телефон был отключён, только радио работало, как всегда.

Глава 20

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ

С моим другом Щербиной я ходила обедать один раз в неделю в ресторан на Курфюрстендамм. По пятницам там вместо мяса выдавали рыбу. При этом можно было отдавать талоны на жиры, а не на мясо. Талоны на жиры Щербина получал в подарок от своих друзей. Мы пытались в укромном углу ресторана съесть рыбу и потом незаметно от obsługi заказать ещё раз. Иногда мы заходили в два-три ресторана.

Были и другие блюда, на которые не нужны были талоны на мясо: картофельные клёцки, овощи или блюдо из яиц. Для так называемого дежурного блюда не нужно было отдавать талоны, обычно это была варёная брюква. Столовые приборы мы должны были приносить из дома. Владельцы кафе не выдавали больше столовые приборы, потому что много воровали.

По воскресеньям мы ходили в русскую церковь и там встретили однажды двух сестёр, их звали Ольга и Тамара. Они были вывезены с Украины на принудительные работы и жили в лагере. Мы пригласили девушек пообедать. Перед тем как сесть за стол, они встали на колени перед иконой и молились, а после обеда Тамара играла на пианино.

В один из последующих дней были тяжёлые воздушные бомбардировки Берлина. Вблизи лагеря падало множество бомб, всё вокруг горело. Когда налёт прекратился и наступил отбой тревоги, люди искали своих родственников, засыпанных обломками. Тамара узнала свою сестру только по платку, который был у неё на

голове перед налётом.

В последние дни войны было очень опасно ходить по улицам. Красная армия делала воздушные налёты в любое время дня, самолёты летели очень низко и бросали бомбы на жилые кварталы. Американцы и англичане прилетали ночью. Конечно, всё было замаскировано, свет горел в квартирах всего несколько часов, правительство экономило энергию. Если вечером гас свет, все знали, что сейчас прозвучит сигнал тревоги. Это происходило обычно в 22 часа. Несмотря на налёты днём и ночью, все самые необходимые магазины были открыты: булочные, мясные лавки и другие продовольственные магазины. Перед ними собирались большие очереди, всё продавалось, разумеется, по карточкам. Но дорога к магазинам была опасной, так как стреляли со всех сторон. Повсюду горело, везде лежали руины домов, стояли отдельные уцелевшие стены, за которые можно было заглянуть с улицы. Вдоль этих стен я и пробиралась, поскольку при налётах они были лучшим укрытием. Я боялась даже просто пересечь улицу, потому что каждый метр на открытом месте мог означать смерть. Я бежала как можно быстрее и повторяла всё время: «Боже, помоги мне!»

Один человек из нашего дома погиб от взрыва бомбы в очереди за хлебом. Повсюду лежали убитые, я стала такой бесчувственной, что могла равнодушно пройти мимо трупов.

Стоять в квартире у окна тоже было опасно. Пока у нас были стёкла в окнах, можно быть раненым или даже погибнуть от летящих по комнате осколков. Позже, когда стёкла были выбиты, внутрь могли влететь осколки бомб, пули или камни. Тогда я поставила обеденный стол в углу комнаты, как можно дальше от окна.

Позднее, когда начались уличные бои, мы почти постоянно находились внизу, в подвале. Я спала на двух больших старых плетёных корзинах, поскольку кроватей там, разумеется, не было. Наше подвальное бомбоубежище было очень ненадёжным. Я брала Муху всегда с собой в подвал. Её там терпели, поскольку жители дома явно надеялись на моё заступничество перед наступающими русскими. В последние дни войны мы жили постоянно внизу. Муха была ужасно пугливой, она поднимала вой каждый раз, когда мне надо было с ней выйти на улицу. Но я должна была хотя бы иногда приходиться в квартиру, чтобы приготовить какую-нибудь еду. Кроме того, собака должна была отпугивать свои естественные потребнос-

ти. Продовольственные магазины были всё ещё открыты. Многие владельцы выдавали товары уже на последующие дни. Все понимали, что война близится к концу.

По ночам в наше бомбоубежище часто приходили немецкие солдаты. Они были в ужасном состоянии, полностью истощенные, грязные, подавленные. Некоторые женщины шли с ними наверх и получали за свою любезность что-нибудь из продуктов. Видимо они нуждались друг в друге, чтобы на какое-то время забыться.

Потом русские штурмовали мост Халензее. Вокруг всё горело, они сжигали всё дотла. Как только русские вошли в наше бомбоубежище (1 или 2 мая, я не помню точно), меня сразу подтолкнули вперёд. Я сказала: «Товарищи, прекратите всё сжигать, я хочу выйти наверх и хоть немного поспать».

Вначале они спросили, спрятано ли в подвале огнестрельное или какое-либо иное оружие. Второй вопрос был: есть ли нацисты в подвале. «Нет», – сказала я, хотя несколько нацистов там были. Тогда они спросили у немцев: «Что вы сделали с нашими матерями, жёнами и сёстрами, которых угнали из России?» Я перевела этот вопрос немцам, находившимся в подвале. Одна женщина сказала мне: «Ради Бога, скажите им, что с рабочими с востока здесь обращались хорошо!» Я ответила ей: «Я врать не буду!»

Вскоре после этого я пошла наверх в свою квартиру, взяв с собой беременную управдома и её трёхлетнего сына. В подвале происходило массовое насилие.

Муж и жена Шаповаленко, русские нацисты, заявили в мою квартиру. Женщина повязала на руку повязку с еврейской звездой, очевидно, этим она хотела избежать насилия. Но солдатам было всё равно, кого насиловать – еврейку или не еврейку. Эти русские нацисты были мне всегда несимпатичны. Во времена Гитлера они хотели снять у меня комнату. Во время одного разговора эта женщина сказала: «Бог с Гитлером!» Тогда я постаралась уклониться от сдачи ей комнаты. И теперь, когда всё рухнуло, она стояла передо мной со звездой Давида на рукаве. Я приняла их, не выгонять же людей на улицу.

Повсюду царил хаос, не было света, газа, водопровод не работал. Воду я должна была носить от водокачки возле Халензее. Вечером я пошла с женой Шаповаленко за водой, тут подошёл к нам русский солдат и крепко схватил её за руку. «Оставь эту женщину,

товарищ», – сказала я ему. Тогда он схватил меня. «Отпусти меня тоже, товарищ, – сказала я ему, – дома меня ждёт офицер». Тогда он отпустил и меня. Моя спутница между тем убежала. Я была зла на неё, потому что мне пришлось одной тащить тяжёлые ведра с водой.

Магазины были закрыты, случались грабежи. Чтобы обеспечить едой голодное население, русские солдаты входили в лавки и раздавали имеющиеся продукты. Из мясной лавки Баде я получила две большие свиные ноги. Мясник Баде был членом национал-социалистической партии и к дню рождения Гитлера украшал витрину своего магазина. Теперь из страха перед русскими солдатами он отдал свои запасы. Потом я пошла к другому мяснику на нашей улице, его звали Мёллинг, и принесла от него большое ведро с потрохами. Он просил меня только вернуть ему ведро.

В большом продовольственном магазине Ротенбаха, бывшем в нашем доме, русские солдаты раздавали муку, сахар и другие продукты. На Зеезенер штрассе русские забрали из подвала картофель и отдали жителям. Перед этим домом стояла длинная очередь. Тогда Щербина сказал, что мы русские, и мы взяли без очереди ведро картофеля. Соседи завидовали нам.

На Гогенцоллерндамм стояло большое круглое здание, это был огромный склад маргарина, мы называли его «маргариновый бункер». Однажды мимо ехали русские солдаты на грузовике и спросили нас, где можно что-нибудь ещё забрать. Мы показали им «маргариновый бункер» и пошли с ними вместе. Директор вынужден был наблюдать, как русские солдаты просто унесли с собой его радиоприёмник и, разумеется, очень много маргарина. Нам они тоже дали большой ящик маргарина, который был ужасно дорогим.

Кроме этого, мы запаслись ещё кое-чем из еды. Дела у нас пошли совсем неплохо, когда мы пожарили большую сковороду картошки с салом. На Альбрехт Ахиллес штрассе была вскоре после окончания войны открыта приёмная бургомистра. Щербина и я пошли туда, чтобы спросить о работе. В этой канцелярии работал человек, который донёс русским на Щербину, потому что они ещё до войны вместе занимались делами, которые закончились довольно неудачно для этого чиновника.

В тот же вечер в нашем доме появился русский солдат и сказал, что его начальник хочет поговорить с Щербиной. ГПУ имело

опорный пункт возле Николазее, туда и привезли его. Я узнала об этом от одного немца, который как раз был отпущен из ГПУ.

Я хотела, конечно, разузнать, что же случилось с Щербиной. Поэтому попросила одну соседку пойти со мной на Николазее. Это было довольно далеко. Мы уже почти дошли до цели, когда увидели идущего нам навстречу Щербину с большим чемоданом в руке. Это было очень странно, поскольку у него не было никакого чемодана, когда его забрали. Что же произошло?

Щербина рассказал, что он тут же после прибытия был допрошен людьми из ГПУ.

Русские очень скоро без церемоний стали называть его «папаша», болтали совсем просто с ним и хотели тут же отпустить. «Сейчас я не могу идти домой, – сказал Щербина, – ведь ночь». «Тогда ты можешь спать здесь», – сказали ему русские, и он переночевал там. Утром, собираясь уходить, он сказал: «Как же я домой пойду, ведь у меня там и еды никакой нет?» Люди из ГПУ всё поняли и дали ему целый чемодан с продуктами. С этим чемоданом он и шёл нам навстречу. Мы притащили этот чемодан общими усилиями домой.

* * *

Вскоре после капитуляции по радио было сообщение, что близкие родственники заключённых из концлагеря Терезин должны обратиться в еврейскую больницу на Иранише штрассе в Веддинге. Там можно получить информацию об оставшихся в живых в этом концлагере.

Этот день мне хорошо запомнился. Я попросила одну женщину из нашего дома пойти со мной. Путь от Халензее до Иранише штрассе был длинным, особенно если идти пешком. Общественный транспорт был полностью разрушен. Иногда мы останавливали машины с советскими солдатами, и они подвозили нас. В еврейской больнице в большой тёмной комнате было устроено бюро информации. За столом сидела пожилая женщина, перед ней была большая коробка, в которой стояли по алфавиту карточки оставшихся в живых в концлагере Терезин.

Люди подходили по очереди к столу. Я должна была долго ждать, и наконец моя очередь подошла. Я назвала имя моей матери, и женщина вынула из коробки карточку на букву «L». Она читала громко имена выживших. Её пальцы переворачивали карточки од-

ну за другой, и стопка становилась всё тоньше. Это были ужасные минуты.

Тогда она произнесла громко и внятно: «Фрау Мария Павловна Лурье».

СТИХОТВОРЕНИЯ ВЕРЫ ЛУРЬЕ

ПЕТРОГРАД

Подавив одиночества душную скуку,
Позабыв про Берлин, оглянуться назад
И увидеть сквозь версты и годы разлуки
Этот тихий, вечерний, родной Петроград.

То, что вне географий, и может быть мимо,
Не попало в истории пыльный архив,
То, что больше преданий и памяти Рима,
Хлеб пайковый и нежности смутный прилив.

Когда солнце не в очередь только и дали,
„Папиросы Зефир» и скупые слова...
А весною панели травой прорастали,
Запустением, древностью пахла трава.

В ЦЕРКВИ

С. П. Ремизовой-Довчелло

Здесь на чужбине больше и больней
Я русское люблю богослуженье.
Мне голоса поют в церковном пеньи.
Поют, поют о родине моей.

В снегу густом мелькает Мойка снова
И на углу наш сероватый дом,
Сарай, где на меня сходило слово,
Когда дрова колола колуном ...

Вдруг вспомню детство, длинный год учебный.
В гимназии осенние молебны,
Квадратный класс с доскою на стене,
Там Моховая светится в окне.

Как хорошо, когда весь день отмечен
Простою радостью, как хорошо когда
У алтаря мерцают свечи.
Без слов молиться прихожу сюда.

ШУТОЧНЫЙ СОНЕТ

Посвящается кафе Ландграф

В кафе асфальтовой, чужой столицы,
Когда на улице сиянье фонарей,
Потерянные в грозном шуме дней,
В углу за столиком все те же лица.

Вот современная Сафо и с ней
Художников, поэтов вереница;
Молчит смущенно бледная девица,
И тощий акробат спешит скорей

Допить свой чай с холодной кулебякой,
А мальчик Миша с маленькой собакой
Лакею глазки строит в полутьме.

Эсер и меньшевик в дыму сигарном
Угрюмо спорят о стихе бездарном,
Готовя планы к будущей зиме.

ПРОШЛОЕ

Неожиданно резко вспомню
Глаза, улыбку и голос
Того, кого прежде любила.

Да белые, душные ночи,
Когда тело болит от желаний.
Милый город больной и далекий,
И церковей православных звоны,
Мостовые в траве зеленой.
А потом морозные зимы,
Когда снег хрустит под ногами,
И в печурке дрова сырые
Не горят, а уныло тлеют...
Ничего, никогда не вернется:
Прошлое падает в вечность,
Точно камни падают в воду.

В ПОЕЗДЕ (ЦОССЕН-БЕРЛИН)

Под равномерные толчки
И паровозное хрипенье
Все думы трудные, сомненья
Вдруг станут призрачно легки!

Давно знакомые картины:
Нить телеграфная кругом,
Промашет мельница крылом.
Нет родины и нет чужбины!

Чернеет рыхлая земля,
Из года в год всегда родная,
И солнцем светятся поля,
В окно вагона залетая.

И в сердце радужно поет
Любовь весенней, вещщей птицей,
И обещает тот полет,
Который только в детстве снится!

По просьбе редакции нашего журнала переводчица с немецкого «Воспоминаний» Веры Лурье Антонина Игошина встретилась с г-ном Буркхардом Кирхнером, участвовавшим в написании мемуаров, текст которых долгое время хранился у него. Беседой с ним мы заканчиваем их публикацию.

– Г-н Кирхнер, Ваше участие в работе над мемуарами Веры Лурье не ограничилось только записью её рассказов. Вы сделали несравненно больше для того, чтобы эти записи были подготовлены к печати и публикация их в конце концов состоялась. Расскажите, с чего всё начиналось. Как состоялось Ваше знакомство?

– Я познакомился с Верой Лурье в 1987 году. Мой друг Вернер Шауэрте работал в то время в так называемой «Бирже знаний», где пожилые люди – свидетели давно минувших времён, могли поведать о своём жизненном пути. Вера Лурье подумала, что история её жизни может кого-нибудь заинтересовать, и пришла в офис к моему другу. Её рассказы о себе и о русских писателях, с которыми она была знакома, показались Вернеру очень интересными. Зная моё увлечение русской культурой, он тут же позвонил мне и сказал: «Ты должен обязательно познакомиться с одной женщиной».

Дело в том, что моя мать очень любит русскую литературу, особенно Достоевского, имя которого она произносит с восторгом. Эта любовь к русской культуре, особенно к литературе, передалась и мне. Я тоже с интересом читаю Достоевского, большой портрет которого висит у меня в квартире.

На следующий день мы сидели втроём в квартире Веры Лурье на Вестфелише штрассе, где она жила вот уже 20 лет, и пили чай из самовара. Рядом сидел её добродушный кот. То, что Вера рассказывала, показалось мне ещё интереснее, чем я мог себе представить. Так появилась идея записать её воспоминания и сделать книгу.

– Какое впечатление произвела на Вас Вера Лурье при первой встрече?

– Это была немолодая дама, ей было уже 86 лет. Вера не придавала большого значения своей одежде и носила простые, практичные вещи. Кроме того, она была бедна. Вера выходила из дома, разумеется, не часто, но тем не менее производила впечатление очень живого, активного человека. Во время наших с ней прогулок она передвигалась вполне самостоятельно и нуждалась только в дру-

жеской руке, на которую могла опереться.

– *Как проходила работа над её мемуарами? Мы знаем, что не существовало никакого русского текста, и она не писала свои воспоминания, а рассказывала о себе, как могла, по-немецки.*

– Вера сделала до встречи с нами некоторые записи о своей жизни в форме писем к немецкой подруге. Но этого было очень мало.

Надеясь на интерес издателей, мы с Вернером Шауэртом заключили с Верой договор на книгу и начали работу.

Наши встречи проходили 3 раза в неделю и длились не более двух с половиной часов, потому что Вера быстро уставала. Сначала мы записывали её рассказы на бумагу, но вскоре отказались от этого и делали магнитофонные записи. Её мемуары – это живая речь, рассказы о былом, о том, что сохранила память. Затем мы отпечатывали всё записанное, читали Вере и задавали ей вопросы. Она делала уточнения и дополнения, конечно же, тоже устно. Воспоминания заканчиваются 1945 годом, то есть временем окончания войны. Вера считала, что послевоенные годы были бы для её читателей не так интересны.

Когда рукопись была готова, мы предложили её нескольким издательствам. Ни одно из них не проявило какого-либо интереса. Мы получали отовсюду отказы. Можно представить себе наше разочарование, больше всех огорчена была, конечно, Вера. В 1989 году мы признали своё поражение, и рукопись на долгие годы была забыта.

– *За время работы над рукописью у Вас сложились с Верой Лурье добрые, дружеские отношения. О чём Вы беседовали с ней во время встреч, прогулок?*

– Разумеется, прежде всего о литературе и русских писателях, а также о её родном городе Петербурге. Вера с радостью воспринимала вести о перестройке, о «ветре перемен» в Советском Союзе, но вместе с тем, относилась к этому немного скептически. Надо сказать, что большого интереса к политике у неё не было. О Ленине она сказала однажды, что именно «с его приходом к власти, в России начались убийства». Судьбы Гумилёва, Мандельштама и многих других писателей, которые были казнены либо погибли в тюрьмах, сильно повлияли на её убеждения. Но у неё не было ненависти к кому-либо, она была скорее фаталисткой.

В конце жизни Вера была довольно одинока. Она говорила,

что у неё нет больше никаких родственников. Было несколько немецких друзей, которые иногда её навещали.

– *Каковы были литературные предпочтения Веры Лурье?*

– Николая Гумилёва она ценила за простоту и ясность его стихов.

Андрея Белого она не всегда понимала, хотя и написала статью об одной его книге.

Она восхищалась Анной Ахматовой. Некоторые отрывки из одной её поэмы Вера читала мне по-немецки. Потом заставила меня послушать ту же поэму по-русски – на слух впечатление было совсем другое, хотя я, конечно, ничего не понял.

Стихи Бориса Пастернака она считала божественными, а роман «Доктор Живаго», напротив, находила слабым.

Что касается Владимира Маяковского и Сергея Есенина, Вера не могла хорошо отзываться о них, поскольку была вообще невысокого мнения о коммунистах и тех, кто с ними сотрудничал.

У Михаила Булгакова её любимым персонажем был Кот-Бегемот из «Мастера и Маргариты». Я читал ей некоторые эпизоды из романа, разумеется, по-немецки, и мы очень смеялись. Наглость Кота в трамвае её восхищала, также как и нахальство дворняжки из «Собачьего сердца», особенно когда Шариков цитировал Каутского.

– *Вера Лурье редко давала интервью. Как Вы думаете – почему?*

– Она не считала себя личностью интересной или значительной. Было обширное интервью для радио WDR. В 1988 году её пригласили в Галерею Маяковского, где в то время проходила выставка «Русские в Берлине», выступить с воспоминаниями и чтением стихов. Я сам возил её туда на такси. «Ну вот, в мои годы я стала известной», – сказала она с иронией.

– *Что же побудило Вас вспомнить о рукописи и опять вернуться к ней уже после смерти Веры Лурье?*

– Много лет спустя, в 1997 году, я был тяжело болен, у меня было кровоизлияние в мозг, то есть инсульт. Я лежал в коме, но вопреки прогнозам врачей пришёл в себя. Придя в сознание и начав выздоравливать, я почему-то вспомнил о рукописи Веры. Что-то в своей жизни я не довёл до конца. Я вновь прослушал все записи, обнаружил некоторые пропуски в тексте. Вскоре у меня появилась

возможность работать на компьютере. Я мог сканировать фотографии Веры и поместить текст и фото в макет книги. «Всё-таки я сумел что-то сделать!» – сказал я себе.

Я давал читать рукопись моим друзьям, один экземпляр отдал в краеведческий музей Шарлоттенбурга. Никакой реакции не последовало. Потом пришёл запрос из исторического музея в Бонне. Этому музею я тоже послал экземпляр, и опять никакого ответа. В какие-либо издательства я больше не обращался, считая это бесполезным. Последний экземпляр лежал у меня в письменном столе несколько лет.

Случайно я рассказал о рукописи Веры Лурье моей хорошей знакомой Людмиле Менделевой, которая её прочитала и познакомила меня с редакцией журнала «Студия», где публикация состоялась уже в переводе с немецкого языка на русский.

Редакция благодарит г-жу Людмилу Менделеву за содействие в установлении контактов с г-ном Кирхнером, в предоставлении рукописей и других необходимых текстов, а также магнитофонных записей и фотографий. Во многом благодаря её помощи стала возможной публикация воспоминаний Веры Лурье.

Fahrlässige Tötung oder Absurdität als postmodernes Konzept

Randbemerkungen zu der Neuübersetzung von «Moskva-Petuški» durch P. Urban

Die »tragischen Blätter«¹ von Venedikt Erofeev erlitten, seit sie zum ersten Mal die sowjetische Staatsgrenze überschritten und gleich an größter Popularität unter der russischsprachigen Leserschaft im Westen gewonnen hatten, immer wieder in vielen Übersetzungen ein im wahrsten Sinne des Wortes »tragisches« Schicksal. Mancher russische oder auch westliche Kritiker sah in dem Poem »исповедь российского алкоголика«² oder cinc »Wodka-Odyssee des betrunkenen Wenitschka«³ oder »the drunken journey of one man on the Moskovskaia-Gor'kovskaia train line to visit his lover and child«⁴, »die absurde Schilderung einer Sauftour«⁵ oder, wie auf dem Schutzumschlag der ersten deutschen Übersetzung stand, eine »feuchtfröhliche Zugfahrt«. Allein schon der Titel des ins Französische übersetzten Poems »Moscou-sur-Vodka« spricht für sich – hier geht es um eine Saftour à la russe. Diese unglücklichen Interpretationen waren zweifelsohne vor allem auf die intertextuelle Inkompetenz und fehlende Kenntnis der soziokulturellen Einbettungen des Erofeev'schen Textes zurückzuführen. Somit galten bis jetzt diese Übersetzungen als ein Beispiel für die wegen falscher Interpretationen fehlgeschlagene kommunikative Funktion des Originaltextes per se.

Nun hätte man spätestens seit der Veröffentlichung von Eduard Vlasovs mehr als ausführlichen Kommentaren im Jahre 1998 hoffen können, dass dieser Missstand damit zu beheben wäre. Zumal diese Kommentare den Originaltext von knapp 120–150 Seiten je nach Ausgabe fast um das Vierfache (450 Seiten) übersteigen und jcdc als vom Autor

1 Aus Erofeevs Widmung in seinem Buch »Moskva-Petuški«

2 S. Čuprynin, Vorwort zu der ersten russischen Veröffentlichung von »Moskva-Petuški« in »Trezvost' i kul'tura«, №12, 1988 (»Beichte eines russischen Alkoholikers« Ü.d.V.)

3 H. Waldmann, »Dieses Switchen zwischen den Welten«, Musik&Theater, Swisscom, 1998

4 Internetartikel: Slavic 147; amazon.com; moskvapetushki page

5 R. Cantzen, »Die lange Nacht der russischen Grotesken«, Deutschland-Radio, 16.03.2002, Internetveröffentlichung

intertextuell angelegte oder die nur als solche möglicherweise zu interpretierende Stelle minutiös und in extenso exemplifizieren. Darüber hinaus behandeln die Kommentare in ausführlicher Form fast alle im Originaltext anzutreffenden Jargonismen, soziokulturelle Bindungen sowie zeitgenössische Anekdoten und Formulierungen des sowjetischen Alltags. Und obwohl die Kommentare schon seit 1998 zugänglich sind und mehrfach nachkommentiert, kritisiert sowie gelobt wurden, hat bis vor kurzem kein Übersetzer die Möglichkeit genutzt, dem Autor und seinem Werk Gerechtigkeit zu tun und die fremdsprachige Leserschaft an dem Chef-d' Œuvre teilhaben zu lassen.

Seit September 2005 liegt uns eine Neuübersetzung von »Moskva-Petuški« von Peter Urban in einer Ausgabe mit einem graphisch prächtigen Coverdesign vor. Den meisten Rezensionen und Artikeln anlässlich der Neuerscheinung können wir entnehmen, dass die Neuübersetzung ein unumstrittener Erfolg ist und, dass sie das Buch auf die entsprechende Wahrnehmungsebene hochhebt, was bis jetzt aufgrund der alten Übersetzung nicht möglich war. Auch der Übersetzer selbst betont ausdrücklich in seinem Nachwort, dass Erofeevs Text bis jetzt nur »an der Oberfläche wahrgenommen«⁶ wurde und dies vor allem auf die erste Übersetzung zurückzuführen sei: »Für den deutschen Leser begann das Mißverständnis bereits mit der törichten Verbiegung des originalen Titels: Was bei Erofeev eine lakonische, sachlich-knappe Fahrplanauskunft ist, mißriet mit der *Reise nach Petuschki* ins Gemütvoll-Blumige, in die Nähe der Idylle (und lud nachgerade zur falschen Betonung »Petuschki« ein, im Unterschied zum harten: *Moskvá – Petuški*).«⁷ Das mag ja zum Teil richtig sein, doch eins dürfen wir nicht vergessen, dass die erste deutsche Übersetzung von N. Spitz bereits im Jahr 1978 erschienen war, wo weder Kommentare noch irgendwelche wissenschaftlichen bzw. kritischen Abhandlungen zu Erofeev vorhanden waren. Und wo wir der alten Übersetzung aus dem oben erwähnten Grund einiges nachsehen können, dürften wir von der neueren Übersetzung unter Berücksichtigung in erster Linie der Kommentare von E. Vlasov etwas mehr verlangen. In unserem Artikel möchten wir einen etwas gründlicheren Blick auf die Neuübersetzung werfen und prüfen, ob sie tatsächlich den Rezensionen und dem eigenen Nachwort gerecht wird und uns, den Lesern, Erofeev endlich näher bringt. Wir werden

6 V. Erofeev, »Moskva – Petuški« übersetzt von P. Urban, Kein & Aber, Zürich, 2005, S. 179

7 ebda, S. 180–181

versuchen, chronologisch vorzugehen mit Ausnahme der Stellen, auf die im späteren Verlauf rekurriert wird bzw. die, die bestimmte Parallelitäten aufweisen – solche Stellen werden alle gleich hintereinander aufgeführt und behandelt.

Gleich zu Anfang wird dem Leser eine Weinliste des von Venja, dem Helden des Poems, Eingenommenen präsentiert, worunter auch zwei Gläser, wohlbemerkt russische Gläser mit einem Volumen von 200 ml, Jägerschnaps ihren Platz finden. In der deutschen Fassung steht aber dafür »Jägerlatein«, was den deutschen Rezipienten schon etwas aus der Lesebahn wirft. Erstens, ist Jägerlatein als ein alkoholisches Getränk im deutschen Sprachraum nicht bekannt, was dazu führt, dass beim Leser der Eindruck eines exotischen russischen Wodkanamens erzeugt wird. Zweitens, trägt dieser Jägerschnaps keine intertextualitätsträchtige Bedeutung, um den Leser zwingen zu müssen im Anmerkungsapparat nachzuschlagen. Und drittens, wenn man schon eine Anmerkung macht, dann müsste diese gründlich nachrecherchiert werden und dann auch stimmen. In der Anmerkung schreibt P. Urban »*Jägerlatein* – russ. ochotničeskaja, 40%iger Vodka...«⁸, was dem deutschen Rezipienten sowieso nicht viel sagen wird, doch gerechtigkeitshalber muss gesagt werden, dass diese Wodkasorte ausschließlich den Namen »Охотничья« (translit. ochotnič'ǎ) trägt und einen Alkoholgehalt von min. 45 % besitzt.

Drei Absätze weiter verlässt der Protagonist Venja noch von der gestrigen Kostprobe ziemlich angeschlagen am frühen Morgen ein fremdes Treppenhaus, in dem er letzte Nacht besinnungslos gelandet war. Zitternd vor Kälte und Kummer versucht er mit sich selbst und mit dieser unfreundlichen Welt Frieden zu schließen: »Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – ничего. Вон – аптека, видишь? А вон – этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует.«⁹ In der Neuübersetzung von P. Urban lautet die Passage folgendermaßen: »– Schon gut, schon gut – sagte ich zu mir – schon gut. Da – die Apotheke, siehst du sie? Und der Schwule in dem braunen Jackett, der das Trottoir fegt. Den siehst du ebenfalls. Also beruhige dich. Alles geht, wie es sich gehört.«¹⁰ Die deutsche Variante dieser Passage könnte den Leser möglicherweise etwas stutzig machen, denn warum, würde der Leser gern wissen, der Anblick eines Schwulen

8 ebda, S. 191

9 V. Erofeev, «Moskva-Petuški», «Vagrius», Moskva, 2001, S. 18

10 V. Erofeev, 2005, S. 9

auf einen Verkäuterten beruhigend wirken soll. Zu Recht, würde der Leser den Autor einer emotionalen Beziehung zu den Vertretern der Homoerotik, ob der Ab- oder Zuneigung sei es dahingestellt, verdächtigen. Bestenfalls wird der Leser diese Passage der angeblich intentionalen Absurdität des Poems, welche die vorliegende Übersetzung anscheinend vehement vertritt, zuschreiben. Diese Vermutungen der Leserschaft werden umso mehr bekräftigt, als man auf der Seite 36 schon wieder einen »Schwulen« in einer negativen Konstellation antrifft. Nach seinem beruflichen Misserfolg als Brigadier verflucht der Protagonist Streber und Erfolgreiche, die die Leiter des gesellschaftlichen Aufstiegs emporsteigen: »Чтоб по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.«¹¹ Bei P. Urban liest sich diese Passage als: »Um auf ihr aufzusteigen, muss man Schwuler sein, muss man von Kopf bis Fuß aus reinem Stahl geschmiedet sein. So einer bin ich nicht.«¹² Geradezu verwunderlich ist auch die Tatsache, dass der Übersetzer, sonst die Kommentare von E. Vlasov immer beherzigend, sie in den beiden Fällen außer Acht lässt. »Пидор – *груб., разг.*, педераст; здесь использовано исключительно как ругательство; ...«.¹³ (»Pidor – *derb, umg.*, Homosexueller; hier ausschließlich als Schimpfwort benutzt; ...« Ü.d.V.) Dazu möchten wir uns noch kurz eine zum Kulturgut sowjetischer Geschichte gehörende Anekdote in Erinnerung rufen. Im Jahre 1962 besuchte Nikita Chruschtschow in der Moskauer Manege die Ausstellung zum 30. Jahrestag der Moskauer Abteilung des Künstlerverbands, wo unter anderem Künstler der Avantgarde und des Abstraktionismus ihre Werke ausgestellt hatten. Als der Generalsekretär der Kommunistischen Partei diese gesehen hat, flippte er völlig aus und beschimpfte diese Künstler wegen einer offensichtlichen Abweichung vom Sozialistischen Realismus lauthals als »пидарасы« (pidarasy) – eine weitere Abwandlung vom »педераст«. Damit wollte der Parteichef keinesfalls ihre sexuelle Orientierung unterstreichen, sondern sie in einer derben und unflätigen Weise in der Öffentlichkeit heruntermachen. Aufgrund fehlender Äquivalenz in der Nonstandardlexik liegt das russische Schimpfwort »пидор« am nächsten zum deutschen »Arschloch«, das die Intensität und Vulgarität der Beschimpfung am ehesten trifft. Darüber hinaus wird mit dem Bild eines die Straße

11 V. Erofeev, 2001, S. 36

12 V. Erofeev, 2005, S. 38

13 V. Erofeev, 2001, Kommentar 4–28, S. 140

fegenden Schwulen die soziokulturelle Einbettung sowjetischer Realien verletzt, da Homosexualität zur Sowjetzeit als gesetzwidrig galt und mit Freiheitsentzug bestraft wurde, so dass man damals einen Homosexuellen als solchen auf der Straße nie und nimmer hätte erkennen können.

Die nachfolgenden zwei kurzen Passagen im Kapitel »Moskau – Hammer und Sichel« sind ein markantes Beispiel für eine die Intention des Autors verfälschende und vulgarisierende Verflachung des Originalkontextes in der Übersetzung. Wir haben schon einmal oben darauf hingewiesen, dass der Protagonist sehr feinfühlig und sensibel ist und so ist auch seine Sprache, wenn auch mit der Lexik des Nonstandards hin und wieder untermalt. Dabei hat diese gelegentliche Verwendung des Nonstandards einen bestimmten Zweck zu erfüllen, und zwar sorgt sie für eine krasse Gegenüberstellung von erhabenen und herabsetzenden Elementen nach Bachtin und erzeugt gleichzeitig eine ästhetische und semantische Differenz innerhalb des Textes, von der R. Lachmann in ihrer Arbeit »Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne.« unter anderem in Bezug auf intertextuelle Einschübe im zielsprachigen Text spricht. Und so ist es kein Zufall, dass Erofeev die Wendung »До ветру ты не ходишь...«¹⁴ für die Beschreibung gegebener Umstände im russischen Original verwendet. Dieser Euphemismus bezweckt gerade durch seinen etwas archaischen und volkstümlichen Charakter eine ironisierende Wirkung und erzeugt praktisch zwangsläufig eine »kontextuelle Explosion« auf der ästhetisch-semantischen Ebene. In der Übersetzung jedoch fehlt dieser Effekt gänzlich, denn durch die Übertragung der Originalwendung als »Du gehst nicht aufs Scheißhaus...«¹⁵ erfährt der Text durch eine weitere nicht vom Autor beabsichtigte Derbheit und Vulgarisierung sowie fehlende euphemistische Färbung der Passage eine eindeutige Verflachung. Wir haben mit Absicht auf den Vergleich der Neuübersetzung von P. Urban mit der ersten von N. Spitz verzichtet, denn dies würde den Rahmen unserer Arbeit sprengen. Dennoch werden wir hin und wieder die entsprechenden Passagen aus der alten Übersetzung anführen, um die Neuentdeckung des Rades zu vermeiden. Die alte Übersetzung bietet uns für die oben besprochene Passage folgende Variante: »Hinter den Busch gehst du nicht...«¹⁶ Unbestritten erfüllt dieser euphemistische Wendung

14 V. Erofeev, 2001, S. 30

15 V. Erofeev, 2005, S. 28

16 W. Jerofejew, „Die Reise nach Petuschki“, aus dem Russischen von Natasa Spitz, Piper Verlag GmbH, München, 1978, S. 28

im Deutschen die Funktionalität ihres russischen Analoges in jeder Hinsicht weitaus besser und trägt somit zum Verständnis des sinnkonstituierenden stilistischen Spiels des Originals bei. Im selben Kapitel zwei Seiten weiter beklagt sich Venja über sein Feingefühl und seine Keuschheit, die ihn eigentlich unglücklich machen und völlig verkehrt von seinen Mitmenschen ausgelegt werden. Und so wird er zu den Damen gebracht und ihnen mit folgenden Worten vorgestellt: »Er ist für vieles berühmt. Aber am berühmtesten ist er natürlich dafür, dass er in seinem ganzen Leben noch kein einziges Mal gefurzt hat.«¹⁷ Doch die Handlung bzw. deren Unterlassung für die Venja so berühmt ist und die in der deutschen Version mit einem durch und durch derben Verb wiedergegeben wird, ist mit einem Verb beschrieben, das der Kindersprache bzw. einem verharmlosenden Sprachgebrauch der herabsetzenden Elemente angehört – »...за всю свою жизнь ни разу не пукнул...«.¹⁸ Somit verhält es sich auch hier in Bezug auf Funktionalität und Nicht-Erfüllung der Autorintention, wie oben besprochen in gleichem Maße.

Ein weiteres Beispiel der fahrlässigen Behandlung des Poems ist im nächsten Kapitel zu finden. Die Variation einer Rekurrenz, die sich kontextbedingt am Anfang und Ende des Poems fast wörtlich wiederholt, erscheint in dieser Passage den Umständen entsprechen in einer abgewandelten Form. Doch die Übersetzung gibt sie, sei es aus Versehen oder Fahrlässigkeit, ohne diese Abwandlung wieder. Im Original lautet diese Phrase an dieser Stelle: »О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!«.¹⁹ (»O glücklichste Zeit im Leben meines Volkes – o Zeit zwischen Öffnung und Schließung der Geschäfte!«).²⁰ In der Neuübersetzung liest sich diese Passage jedoch folgendermaßen: »O schlimmste Zeit im Leben meines Volkes – Zeit zwischen Öffnung und Schließung der Geschäfte!«. Und das ergibt nun so gut wie keinen Sinn, denn die beiden Rekurrenzen am Anfang und Ende des Poems sprechen tatsächlich von der »schlimmsten Zeit«, jedoch einmal von der Zeit »vom Morgengrauen bis zum Öffnen der Geschäfte«²¹ und ein anderes mal von der »Schließungszeit der Geschäfte bis zum Morgen!«,²² mit anderen Worten die »schlimmste Zeit«

17 V. Erofeev, 2005, S. 30

18 V. Erofeev, 2001, S. 31

19 V. Erofeev, 2001, S. 33

20 W. Jerofejew, 1978, S. 32

21 V. Erofeev, 2005, S. 10

22 ebda, S. 165

ist die Zwischenzeit, in der alle Geschäfte zu sind. Doch unsere Passage sollte als ein Lobgesang an die »Zeit zwischen Öffnung und Schließung der Geschäfte« gelten, daher auch der Superlativ »блаженнейшее время« (»glücklichste Zeit«). Und somit muss die vorliegende Version in der Neuübersetzung vom fremdsprachigen Rezipienten abermals entweder als Absurdität oder als Inkonsequenz und Fahrlässigkeit des Autors hingenommen werden.

Da wir gerade von der durch die inakkurate Übersetzung hervorgerufenen Absurdität bzw. Verworrenheit sprechen, bietet sich für unsere Untersuchung das nächste Beispiel noch im selben Kapitel ein paar Absätze weiter an. Venja, immer noch als Brigadeführer, begreift sich plötzlich als Vormund und Fürsorger seiner Untergebenen und sagt zu sich selbst: »...вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам.«²³ Die Übersetzung schlägt folgendes vor: »...erinnere dich, du hast bei einem Weisen gelesen, dass der Herr unser Gott sich nur um Prinzen sorgt, denen er die Sorge um das Schicksal überlässt.«²⁴ Im Original aber sorgt Gott der Herr sich nicht um Prinzen, sondern um das Schicksal der Prinzen und die ihrerseits um das Schicksal der Völker. Die Folgerichtigkeit in diesem Abschnitt ist umso wichtiger, als es eine implizite Allusion auf eine Bibelszene aus dem Buch Exodus (Ex 18: 18–21, 23) darstellt. Und umso mehr ist es verwunderlich, dass der Übersetzer diese Passage nicht richtig wiedergibt, als man diesen Allusionshinweis auch bei Vlasov vorfindet, dessen Kommentare man, wenn auch in etwas gekürzter Form, zum größten Teil im Anmerkungsapparat der Neuübersetzung wieder findet. Diese Modifizierungen und Auslassungen sind nicht nachvollziehbar, zumal die »Sorge um das Schicksal« einen aufmerksamen Leser zwangsläufig zu der Frage verleitet, was für ein oder wessen Schicksal gemeint ist? Die im Original ganz klare und sinnkonstituierende Aussage muss in der Übersetzung schon wieder als eine Verwirrung stiftende Sinnlosigkeit oder eine abermalige Kapriole des Autors gelesen werden.

Im Kapitel »Reutovo – Nikolskoe« wird der fremdsprachige Leser schon wieder mit einem sonderbaren Wodkanamen »Drachentöter« konfrontiert. Der Name Drachentöter²⁵ kann eventuell vollkommen falsche Konnotationen bei den Spirituosenkennern bzw. bei solchen, denen um

23 V. Erofeev, 2001, S. 34

24 V. Erofeev, 2005, S. 34–35

25 ebda, S. 41

ihren Wissensdrang zu stillen ein Blick ins Internet nicht allzu schwer fällt, hervorrufen, denn Drachentöter heißt ein Cocktail, dessen Bestandteile sind: 2 cl Fernet Branca, 2 cl Vermouth Rosso, 2 cl Pfefferminzlikör, 2 Eiswürfel (nach Belieben), 1 Zitronenscheibe. Wir brauchen es nicht weiter auszuführen, dass dieses Getränk für sowjetische Verhältnisse der 70-er Jahre so gut wie unmöglich erscheint. Dabei handelt es sich bei Erofeev um eine wohlbekannte Wodkasorte, die den Namen »Зверобой« trägt, was wahrscheinlich für das Missverständnis gesorgt hat. Zwar wird bei Ožegov oder Ušakov die erste Bedeutung des Wortes »зверобой« als ein veralteter Ausdruck für Jäger erklärt, doch wurde dieser Wodka auf diesen Namen aus einem anderen und viel einfacheren Grund getauft. Die zweite Bedeutung von »зверобой« ist Johanniskraut, die den wichtigsten Bestandteil dieser Wodkasorte darstellt. Somit verfehlt der exotische Name Drachentöter die Grundbedeutung des Originals samt der werkimmannten Konnotation.

Ein paar Seiten weiter erinnert sich Venja wie er beim letzten Besuch am Bettchen seines kranken Sohnes saß und ihm einredete schnell zu genesen und bald aufzustehen, um zu Vaters Farandole zu tanzen, wie er schon früher mal dazu getanzt hatte. »...erinnerst du dich? Als du zwei warst, hast du zu ihr getanzt. Die Musik war von deinem Vater, die Worte desgleichen. ... Und du, auf den einen Arm gestützt, hast mit dem anderen das Tuch geschwenkt und bist gehüpft wie ein Winzling von Ferkel...«²⁶ Am besten ist gar nicht daran denken, was gemeint ist. Sobald wir versuchen uns dieses Bild vor Augen zu führen, bricht jede Logik und alles dem menschlichen Körper Zumutbare zusammen. Das ist eine Akrobatik hoch drei, die nicht in jedem chinesischen Zirkus nachgemacht werden kann. Und das Wichtigste nicht zu vergessen: diese haarsträubende Turnübung wird von einem zwei Jahre alten Kind vorgeführt. Ist das denn überhaupt möglich oder versucht der Autor schon wieder seine Leserschaft wie eine Rakete ins Absurde bzw. feiner ausgedrückt ins Grotleske zu schießen? Aber was hat dieses Grotleske, und zwar an dieser Stelle, im Werk zu suchen? Eigentlich nichts. Davon können wir uns leicht überzeugen, wenn wir den Originaltext zu Rate ziehen. Dort steht nämlich: »А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак...«²⁷. Das ganze Missverständnis mit der Akrobatik rührt von der Wendung »подпершись одной рукой« her. Das Verb

26 V. Erofeev, 2005, S. 49

27 V. Erofeev, 2001, S. 43

»подпереть« wird in vielen russisch-deutschen Wörterbüchern als (ab-, unter)stützen wiedergegeben. Dabei ist dies nicht die einzige Bedeutung, und vor allem in diesem Zusammenhang sollte man sich fragen, ob dahinter noch etwas anderes steht. Schon bei Ušakov finden wir an letzter Stelle als eine weitere mögliche Bedeutung den Eintrag »Подпереться руками (разг.). – опереть руки на бока.« (Hände in die Seiten (*umg.*) – Hände in die Seiten stemmen. Ü.d.V.). Und gleich wird alles klar und verständlich, was ursprünglich gemeint war. Beim Leser sollte das Bild eines russischen Folkloretanzes entstehen, bei dem Frauen in Folklorekleidern mit einer Hand auf der Hüfte und mit der anderen ein Tuch schwenkend einen russischen Reigen tanzen.

Im Kapitel »Kupavna – Kilometer 33« diskutiert unser Held über verschiedene alkoholische Getränke und deren Wirkung auf die menschliche Natur. Dabei stellt er eine These auf, die besagt, dass der Mensch nach einem kontinuierlichen Einnehmen von rotem Dessertwein mit erhöhtem Alkohol- und Zuckergehalt während eines ganzen Tages zu nichts imstande ist und seine Mitmenschen, insbesondere Mädchen, ihn hartherzig übersehen.

»А если вы с утра до ночи пили только крепленные красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купалу. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купалу, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего.«²⁸

Die Neuübersetzung bietet uns wieder mal eine eigene Interpretation nebst einer weiteren ungerechtfertigten Auslassung: »Und wenn ihr von morgens bis in die Nacht nur Rotweinschnitt getrunken habt? Werden die Mädchen nicht in die Nacht von Ivan Kupala hineinspringen. Geschweige denn etwas anders.«²⁹ Die Anmerkung des Übersetzers über die Analogie der Nacht von Ivan Kupala (volkstümliche Bezeichnung für Johannis der Täufer) zur Walpurgisnacht ist die einzige richtige. Denn die zielsprachige Passage weist weder einen Zusammenhang noch irgendeine Logik auf. Die erste Frage, die sich dem fremdsprachigen Rezipienten gleich von vorne aufdrängt, ist, was hat der Alkoholverzehr eines Dritten für verheerende Wirkungen auf die Sprungkraft der Mädchen. Und zweitens, was ist das für ein mysteriöser russischer Brauch, bei dem Mädchen in die Nacht hineinspringen sollen. Fangen wir zuerst mit dem geheimnisvollen Hineinspringen an. Das Geheimnis lüftet sich viel schneller als man

28 V. Erofeev, 2001, S. 51

29 V. Erofeev, 2005, S. 64

es erwarten könnte, sobald man bei Ožegov den Eintrag »ночь« nachschlägt. Dort finden wir ein Beispiel für die Wendung »в ночь«, die gleich mit dem erklärenden Synonym in Klammern »ночью« erläutert wird, was zu Deutsch schlicht und ergreifend «in der Nacht» bedeutet. Und was die erste Frage betrifft, so entstand diese aus der im Original nie da gewesenen Zusammenhanglosigkeit. Außerdem wird in der deutschen Variante aus unerklärlichen Gründen gleich nach dem Hineinspringen ein ganzer Satz weggelassen. An dieser Stelle möchten wir der Vollständigkeit und Verständlichkeit halber, ohne dabei eine vergleichende bzw. bewertende Analyse der beiden Übersetzungen zu betreiben, diese Passage aus der alten Übersetzung anführen: »Und was passiert, wenn ihr morgens bis abends ausschließlich schwere Rotweine trinkt? Die Mädchen werden in der Johannisnacht nicht daran denken, über euch drüberzuspringen. Sogar umgekehrt: würdet ihr in der Johannisnacht den Versuch machen, über ein Mädchen drüberzuspringen, würdet ihr das garantiert nicht schaffen, geschweige denn was anderes.«³⁰

Jetzt stoßen wir im Verlauf der nächsten zehn Seiten auf verschiedene Russizismen und Lehnübersetzung in der Art einer philologischen Übersetzung, die eine aber im Original nicht vorhandene «exotisierende» Erzählform suggerieren, was den Lesefluss lediglich negativ beeinträchtigt und den an sich sehr poetischen Text holprig macht. Auf einige dieser Elemente möchten wir hier kurz eingehen.

Für die Erforschung des Unerforschlichen unter seinem mathematischen Aspekt, des Schluckaufs im Suff, muss man ihn erst mal auslösen. Und dazu verrät der Autor ein sicheres Rezept, das einen hundertprozentigen Erfolg garantiert. »Und ihr werdet euch überzeugen: gegen Ausgang dieser Stunde beginnt er.«³¹ Was im ausgangsprachlichen Text als eine standardsprachliche und sogar phraseologische Wendung »к исходу этого часа« gilt, muss nicht automatisch für das Ohr eines fremdsprachigen Rezipienten in einer wort-wörtlichen Wiedergabe dieser Wendung genauso wohlklingend und stilistisch korrekt sein. Ein angemesseneres Äquivalent dafür, welches seine Leser darüber nicht würde stolpern lassen, wäre hierzulande das übliche »nach Ablauf dieser Stunde«.

Bei der Preisgabe seiner berühmten Cocktailrezepte warnt uns der Held vor den Folgen des Wodkatrinkens in seiner reinen Form, d. h. ohne zu mischen: »Wer einfach Vodka trinkt, bewahrt gesunden Menschenver-

30 W. Jerofejew, 1978, S. 59

31 V. Erofeev, 2005, S. 66

stand und festes Gedächtnis oder verliert, umgekehrt, das eine wie das andere.«³² Einmal haben wir es hier mit einer der seltenen aber glücklichen intersprachlichen Kongruenzen auf der phraseologischen Ebene zu tun, denn der Menschenverstand ist im Russischen genauso »gesund« wie im Deutschen. Dieser Fall ist aber kein Grund dafür, die zweite feststehende Redewendung »твердая память« in eine im Deutschen nicht existente Fügung »festes Gedächtnis« hineinzuzwingen, was beim deutschsprachigen Leser, der noch ein gutes Gedächtnis hat, unnötige Verwirrung und womöglich falsche Assoziationen hervorrufen kann.

Als Venja, zurück in seinem Abteil, die beiden sonderbaren Figuren, den Großvater und seinen Enkelsohn, zu sich ruft, fragt er zunächst nach dem Namen des Großvaters. »Wie heißt du, Papaša, und wo fährst du hin?«³³ Welchen intertextuellen bzw. alludierenden Sinn trägt dieses Wort, das es extra einer Transliteration und dann noch einer Anmerkung bedarf? Im Original ist es eine alltägliche, umgangssprachliche und sehr gängige Bezeichnung für ältere Herren, wie im Deutschen etwa Opa, alter Mann, notfalls Väterchen. Warum müssen also die Leser wegen einem für die Sinnkonstituierung so unwichtigen Wort aus der Lesebahn geworfen werden und den Anmerkungsapparat danach durchsuchen.

Die Passage über Mitrič, den Enkelsohn, der auf Grund seiner anatomischen Beschaffenheit sowie eines skurrilen und grotesken Verhaltens der materiell-leiblichen Basis angehört, ist als eine karnevaleske Gestaltung im Bachtinschen Sinne zu begreifen. Auch die Laute, die er von sich gibt, sind einer sonderbaren Natur. »Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать.«³⁴ In der Übersetzung liest man: »Ungewöhnlich war dieser Laut, und es ist verteufelt gemein, dass ich ihn nicht wiedergeben kann, wie ich sollte.«³⁵ Zugegeben, die ganze Passage ist ein Füllhorn des Grotesken und Skurrilen, dennoch bleibt die Sprache des Autors poetisch. Zweifellos versteht man, wofür dieses »verteufelt gemein« steht, doch klingt es in der Zielsprache allenfalls verfremdend. Also, warum nicht auch hier in der Zielsprache eine dem deutschen Usus entsprechende Redewendung verwenden. »Es ist verdammt schade, dass ich ihn nicht richtig wiedergeben kann.«³⁶

32 ebda, S. 71-72

33 ebda, S. 78

34 V. Erofeev, 2001, S. 61-62

35 V. Erofeev, 2005, S. 79

36 W. Jerofejew, 1978, S. 73

Im Kapitel »Esino – Frjazevo«, als sich aus den Mitreisenden langsam eine intellektuelle Diskussionsrunde bildet, die ihr Erkenntnisvermögen im direkten Verhältnis zu der eingenommenen Menge immer weiter steigert, hält der Schnurrbärtige einen Vortrag über die Korrelation zwischen den Vertretern klassischer Literatur, Musik und dem Alkohol in seinen verschiedenen Erscheinungsformen. »А Куприн и Максим Горький – так те вообще не просыпались!..«³⁷ In der deutschen Variante heißt diese Feststellung des Vortragshaltenden folgendes: »Aber Kuprin und Gorkij – die sind überhaupt nicht aufgewacht! ...«³⁸ Das russische Verb »просыпаться« hat neben seiner ersten wörtlichen Bedeutung »aufwachen« auch noch eine zweite, und zwar in einer feststehenden Fügung »не просыпаться от пьянства«, die nichts mit dem Schlafen und Aufwachen direkt zu tun hat. Die obwohl sehr bildhafte und trotzdem übertragene Bedeutung dieser Redewendung ist, dass man vom ständigen Trinken zu sich bzw. zu den Sinnen überhaupt nicht mehr kommt. Da das deutsche Verb »aufwachen« diese Konnotation nicht besitzt, führt die direkte Wiedergabe des russischen Verbs in diesem Kontext unweigerlich zu einer Sinnentstellung. Genauso verhält es sich zwei Seiten weiter mit dem Fazit des Schnurrbarts. »А теперь – вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь!«³⁹ oder in der neueren deutschen Version – »Jetzt dagegen trinkt das ganze denkende Russland, aus Mitleid mit den Bauern, trinkt, ohne aufzuwachen!«

Als ein vom Schnurrbart so glänzend aufgebautes Evaluierungssystem der trinkenden bedeutenden und nicht trinkenden nichtsnutzigen Persönlichkeiten einzustürzen droht, weil einer der Disputanten aus der Diskussionsrunde den Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe als einen unbestrittenen Klassiker und dennoch Abstinenzler entgegenhält, eilt Venja mit seiner Theorie über Goethes Abstinenz dem Schnurrbart zu Hilfe. »Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет – а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит – а он, старый хрен, уже лыка не вяжет.«⁴⁰ Dazu die deutsche Variante: »Und genauso, wie er sich erschossen hat, hat er auch getrunken, euer Geheimrat. Mephistopheles trinkt – und ihm ist wohl dabei, dem alten Hund. Faust schenkt ihm nach – und er, der alte Knopf, zeigt nicht einmal dabei

37 V. Erofeev, 2001, S. 63

38 V. Erofeev, 2005, S. 83

39 V. Erofeev, 2001, S. 65

40 V. Erofeev, 2001, S. 66–67

die Zähne.«⁴¹ In dieser Passage geht es uns vor allem um den letzten Satz, der sowohl sinngemäß als auch metaphorisch inkorrekt ist. Venjas Theorie besagt, dass obwohl Goethe ein Abstinenzler war, hat er seine Trunksucht stark sublimiert, indem er seine Hauptfiguren ständig trinken ließ und dabei selbst einen Rausch kriegte, ohne in Wirklichkeit einen einzigen Tropfen getrunken zu haben. Und das steht auch im letzten Satz unserer Passage im Original. Aus dem deutschen Satz geht hervor, dass Faust dem Mephistopheles nachschenkt und dieser dabei nicht einmal die Zähne zeigt, was laut Duden als umgangssprachliche Redewendung *für [jmdm. gegenüber] Stärke demonstrieren, [jmdm.] seine Entschlossenheit zeigen zu handeln, sich durchzusetzen* klassifiziert wird. Der Sinn der ersten Phrase aus dem Originalsatz »Фауст добавит« lässt sich praktisch anhand der wörtlichen Bedeutung des Verbs »добавить« (*hinzufügen, hinzusetzen; ergänzen*) ableiten und suggeriert nämlich, dass Faust noch einen trinkt. Was die idiomatische Wendung ‚лыка не вяжет‘ betrifft, so hat sie nicht im entferntesten irgendeine Relation zum Zähnezeigen. Dieses Idiom hat sich historisch herauskristallisiert und hatte anfangs keine übertragene Bedeutung bei der Bezeichnung des gegebenen Umstands. ‚Вязать лыко‘ heißt soviel wie Bast flechten und diese Redewendung wurde auf Bauern, die für sich selbst und ihre ganzen Familien Bastschuhe flochten, angewandt als eine Messskala der Betrunkenheit, wenn die Bauer nicht mal mehr Bast flechten konnten, was an sich als eine der einfachsten alltäglichen Arbeiten galt. Heutzutage genießt diese Redewendung, obwohl etwas archaisch klingend, wie seit je große Popularität, jedoch mit der kleinen Abwandlung, dass sie nicht die stockbetrunkenen bastschuhflechtenden Bauern, die nach einer gewissen Menge ihre Fingerfertigkeit verlieren, bezeichnet, sondern all diejenigen, die, wohl gemerkt aus demselben Grund, ihre Zungenfertigkeit verlieren und kein einziges Wort mehr auszusprechen vermögen und demnach nur noch lallen können. Und darin lag die Pointe in dem Originalsatz, dass Faust noch einen »kippt« und er, Goethe, nur noch lallen kann. In der Übersetzung ist der ursprüngliche Sinn dieser Aussage völlig untergegangen und der originelle Kausalzusammenhang hat überall Risse bekommen.

Zwei Seiten weiter im Kapitel »Frjazevo – Kilometer 61« demen­tiert Venja eine beinahe böswillige Unterstellung, dass er so betrübt sei, weil er seit heute morgen nichts getrunken habe, indem er geradezu beleidigt erklärt: »Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто

41 V. Erofeev, 2005, S. 89

замутненность глаз... Я просто немного поддал...«⁴² Doch die Übersetzung stellt uns wieder mal vor die nächste Absurdität: »Was heißt hier nichts! Und ist das etwa Traurigkeit? Das ist einfach eine Trübung der Augen ... Ich habe einfach ein bisschen dick aufgetragen ...«⁴³ Nun ‚dick auftragen‘ heißt eigentlich soviel wie übertreiben und passt in die Passage mit dieser Bedeutung sinngemäß nicht ganz richtig hinein. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich, denn »поддать« heißt in der russischen Umgangssprache in der jeweiligen Situation »einen hinter die Binde kippen«. Und so klafft der Phraseologismus der beiden Wendungen sowie der Sinn der russischen und der deutschen Variante weit auseinander.

Als die Diskussionsrunde ihr Thema wechselt und anfängt über die Liebe wie bei Iwan Turgenew zu sprechen, stoßen immer neue Teilnehmer zu der Runde zu, so z. B. eine Frauengestalt in einer braunen Basenmütze. Die Meinung der Runde in Bezug auf die Aufnahme neuer Teilnehmer, spaltet sich – die einen sind strikt dagegen, die anderen und darunter auch der Protagonist plädieren dafür. »Ну почему, почему! – я запротестовал и засуетился. – Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет! – „Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!..“ – Я потеснился.«⁴⁴ Damit protestiert Venja gegen diejenigen, die die Frau nicht aufnehmen und wegschicken wollen. Gleichzeitig wirft er ihnen vor, dass obwohl sie so belesen sind und Turgenew und Maxim Gorki gelesen haben, nichts daraus gelernt hätten. Insbesondere, da sie soeben den Frauenaspekt bei den beiden Klassikern besprochen haben und sich sogar erinnern haben, dass Gorki auf Capri mal gesagt hätte, dass der Maßstab jeder Zivilisation die Art und Weise des Umgangs mit der Frau sei. Jetzt wollen wir kurz die übersetzte Variante dieser Passage auf den besprochenen Inhalt überprüfen. »Warum, warum! – protestierte ich und wurde fahrig. – Soll sie sich setzten! Soll sie uns was erzählen! – „Sie haben Turgenev gelesen, haben Maxim Gorkij gelesen, vielleicht kommt ja was dabei raus ...!“ Ich rückte beiseite.«⁴⁵ Kurz gefasst, wir haben es hier mit einer sinnentstellenden Verwechslung der Adressanten schlechthin zu tun. Statt eines Vorwurfs gegen die alteingesessenen Teilnehmer der Diskussionsrunde mit ihren chauvinistischen Einstellungen wird in der Übersetzung ein Aussagesatz an die Frau gerichtet und zwar mit der

42 V. Erofeev, 2001, S67

43 V. Erofeev, 2005, S. 91

44 V. Erofeev, 2001, S. 74–75

45 V. Erofeev, 2005, S. 102

feststellenden Behauptung, dass sie die beiden Klassiker gelesen hat und dass dabei was rauskommen soll. Abgesehen von der Verdrehung des Originalinhalts entzieht sich auch diese Sicherheit in der Behauptung über die Belesenheit der Frau jeglicher Logik, denn dem Originaltext nach ist sie soeben aufgetaucht und hat ihre Kenntnisse noch nicht offenbart.

Nach der Aufnahme in die Runde und der Einnahme einer gebührenden Aufnahmedosis erzählt die Baskenmützetragerin über ihr leidvolles Schicksal, ihre Abenteuerlust und wie sie durch Puschkin zu Schaden kam. »Und dann hat dieser Puškin alles verkorkst! ... Ich bin nämlich wie Jeanne d'Arc. Die hat genau wie ich – statt Kühe zu hüten und Getreide zu mähen – hat die sich auf ein Pferd gesetzt und ist nach Orléans galoppiert, um auf ihrem Arsch Abenteuer zu suchen.«⁴⁶ Was soll sich der deutschsprachige Leser unter dieser angeblich idiomatischen Wendung zusammenreimen und wie kann man auf seinem Allerwertesten, außer nach irgendwelchen dermatologischen Unebenheiten u.ä., nach etwas Abstraktem wie Abenteuer suchen. Selbst als Lehnübersetzung ist diese falsch, da die Rektion einfach nicht stimmt – im Russischen sucht man Abenteuer auf seinen A... im Akkusativ, so wie »Betreten auf eigene Gefahr«. Aber selbst dann ist diese Entlehnung sehr unglücklich, weil das Deutsche diesen Phraseologismus samt seinem standardsprachlichen Ursprung »на свою голову приключений искать« (wörtlich übersetzt – Abenteuer auf sein Haupt suchen) einfach nicht kennt und keine sinnverwandte Äquivalenz bieten kann. Sollte man trotz alledem unbedingt darauf beharren, dieses schneidige und etwas flegelhafte Bild vom hinteren Teil in die Übersetzung zu übernehmen, warum dann nicht versuchen zu umschreiben wie etwa in der alten Version: »Ich bin nämlich wie Jeanne d'Arc. Was tut die, anstatt ihre Kühe zu hüten und ihr Korn zu ernten? Schwingt sich aufs Pferd und reitet auf ihrem Hintern nach Orleans, Abenteuer suchen.«⁴⁷

Im weiteren Verlauf ihrer Erzählung über die gefährlichen Nebenwirkungen der russischen Literatur schildert sie einen weiteren Zusammenstoß mit ihrem Liebhaber, dem Komsomolorganisor Evtjuškin. An diesem Tag hat sie einen über den Durst getrunken und da sie nicht auf Arbeit war, hat sie ihren Liebsten mit den Literaturfragen so weit gebracht, dass er ihr den Schädel brach und nach Wladimir an der Kljasma verschwand. Nun steht in der Übersetzung für den Grund ihres Fehlens am Arbeitsplatz folgendes: »Und ich saß zu dieser Zeit in der Krankenabteilung,

46 ebda, S. 104

47 W. Jerofejew, 1978, S. 95

Gehirnerschütterung und Darmverschluss ...«.⁴⁸ Schenkt man dieser Aussage Glauben, heißt es dann, dass man sich in den Krankenabteilungen Russlands immer einen hinter die Binde kippen kann, oder dass es eine russische Heilkur per se ist. Diese seit je feststehende Redewendung des russischen Alltags »сидеть на больничном«, daher auch »saß« in der Übersetzung, bedeutet nichts weiter als krankgeschrieben sein. Und genau das hat die Erzählerin im Original gemeint, dass sie zu der Zeit wegen Gehirnerschütterung und Darmverschluss krankgeschrieben war.

Nach dem Bericht über ihren Leidensweg fühlt sich die durch Puschkin Geschädigte sehr geschwächt und ausgelaugt, weshalb sie sich auch zwecks einer Stärkung an Venja wendet: »Дело к обмороку, мальй. Налей-ка еще чуток...«⁴⁹ Doch die Übersetzung macht etwas Umgekehrtes und Absurdes daraus: »Es ist, um in Ohnmacht zu fallen, Junge. Schenk mir noch was ein.«⁵⁰ Demnach will sie unbedingt in Ohnmacht fallen und deswegen bittet sie um noch einen Schluck. Im russischen Original jedoch will sie die Ohnmacht vermeiden und gerade deswegen will sie zur Stärkung noch einen Tropfen. Die Wendung »дело к« im Russischen impliziert, dass etwas bald anfängt und man etwas dagegen unternehmen muss. Dabei muss es nicht unbedingt etwas Negatives oder Unerwünschtes sein. Man sagt zum Beispiel »дело к вечеру« (es wird bald Abend) und meint dabei, dass es an der Zeit ist nach Hause zu gehen o.ä.

Im Kapitel »Nazarjevo – Drezna« referiert Venja über seine meist negativen Auslandserfahrungen. Nach einer schiefgelaufenen Italienreise wollte er sich für eine Zeitlang in Paris niederlassen. Zu diesem Zwecke hat er sich eine Mansarde gemietet, zwölf Pfeifen nach Ehrenburger Art geraucht und angefangen Essays zu schreiben. Aber jedes Mal wurden seine Essays ihm, obwohl tiefen philosophischen Inhalts, zurückgeschickt. Und letztendlich hat ihn das so aufgebracht, »dass ich ausgespuckt, meine Manuskripte, die Mansarde und das Entresol verbrannt habe und über Verdun zum Ärmelkanal vorgedrungen bin.«⁵¹ Schon wieder muss der aufmerksame Leser fragen, was Venja da jetzt ausspuckt und warum. Nur weil das Verb im Original allein steht, heißt es noch lange nicht, dass man es wörtlich übernehmen müsste. Für den russischsprachigen Rezipienten bereitet es keine weiteren Schwierigkeiten

48 V. Erofeev, 2005, S. 104–105

49 V. Erofeev, 2001, S. 76

50 V. Erofeev, 2005, S. 10

51 ebda, S. 113

dieses Verb als eine häufige Abkürzung der umgangssprachlichen Wendung »на что-то плюнуть« zu identifizieren, was dem deutschen Rezipienten durch die der russischen äquivalente Wendung »auf etw. pfeifen« zu vermitteln wäre. Und so gewinnt die Passage mit ihrem eigentlich hier unsinnigen «ausspucken» ihre ursprüngliche Logik, wenn man diese russische Wendung äquivalent wiedergibt – «Ich piff auf die ganze Sache, verbrannte meine Manuskripte ...». ⁵²

Um eine Zeit-Verzerrung in den besten Science-Fiction-Traditionen kommen wir anscheinend auch nicht umhin. Im nächsten Kapitel versammeln sich Venja und seine Gleichgesinnten vor einem Viehhof, um von dort aus mit dem Siegeszug ihrer Revolution zu starten. »Um neun Uhr Greenwicher Zeit, im Gras vor dem Viehhof, saßen wir und warteten. (...) ... aber danach stand uns nicht der Sinn: neun null-null Greenwicher Zeit rückte näher ...«. ⁵³ Wie kommt es, fragt sich der Leser erstaunt, dass sie um neun Uhr da saßen und warteten und neun null-null näher rückte? Es klingt entweder nach einer böswilligen Absurdität des Autors oder da stimmt etwas mit der Greenwicher Zeit nicht. In Wirklichkeit trifft weder das eine noch das andere zu. Die Verwirrung rührt daher, dass im Original die Passage mit »В девятом часу по Гринвичу...« ⁵⁴ anfängt, was auf gut Deutsch nach acht Uhr bzw. in der neunten Stunde heißt.

Die Revolutionsthematik wird unumgänglich von einer ganzen Reihe sowjetischer, bürokratischer Begriffe und Institutionsbezeichnungen begleitet. Diese werden fast alle in der Übersetzung transkribiert und im Anmerkungsapparat erörtert. Zu den unnötigen Russizismen, die keine sinn – bzw. stiltragende Bedeutung an sich haben und ohne jegliche Verluste übersetzt werden dürften und welche den Textfluss meistens negativ beeinflussen sowie den Leser durch ständiges Nachschlagen im Anmerkungsapparat abhetzen, haben wir uns schon oben geäußert. Wir möchten hier nur einige von ihnen aufführen: *Selsojwet* auf Seite 127, *Sel'po-Lager* ebda, *Rajzentrum* S. 132 etc. Wenn der Übersetzer diese Wörter für so wichtig hält, dass er sie nicht übersetzt, sondern diese im Anmerkungsapparat ausführlicher behandelt, dann müsste der Leser auch davon ausgehen können, dass diese quasi wissenschaftlichen Kommentare zuverlässig sind. Doch leider ist es nicht immer der Fall. Die eigens für diese Übersetzung gemachten Kommentare, die nicht bei Vlasov schon vorhanden sind,

52 W. Jerofejew, 1978, S. 104

53 ebda, S. 126

54 V. Erofeev, 2001, S. 89

halten öfters nicht das, was sie versprechen. So z. B. die Anmerkung zum *Sel'po*: «*Sel'po-Lager* – sowjet. Abk. für *Selskaja potrebitel'naja kooperacija*: ländlich-dörfliche Verbraucher-Kooperative». ⁵⁵ Es ist tatsächlich eine Abkürzung, die aber für «сельское потребительское общество» (translit. *sel'skoe potrebitel'skoe obščestvo*) steht und daher kommt auch das »o« am Ende. Außerdem ist es ein ziemlicher Unterschied zwischen *potrebitel'naja* (Gebrauchs-) und *potrebitel'skaja* (Verbraucher-), aber wer wird das schon wissen wollen. Manchmal findet man unter den oben bezeichneten Kommentaren vollkommen hanebüchene Interpretationen. »*Rajzentrum* – sowjet. Abkürzung f. Gebiets-, Kreiszentrum, russ. *rajonnyj centr*. *Raj* bedeutet für sich allein: das biblische Paradies.« ⁵⁶ Was soll man da von dieser paradiesischen Erklärung halten – die kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Es ist eigentlich kein Geheimnis, dass das russische Nomen »район« (translit. *rajon*) vom französischen »rayon« kommt, welches seinerseits aus dem lateinischen »radius« stammt. Und noch ein letztes Beispiel der wilden Interpretationen aus dem Kommentarteil: »*besonders die Golan-Höhen* – der Name enthält die russ. Wortwurzel *gol-*, nackt, nackig, kahl.« ⁵⁷ Eigentlich bedarf es keines weiteren Kommentars. Denn diese Feststellung spricht für sich selbst, dass eine Sprache, die solche Wörter wie *Голгофа* (*Golgatha*), *Голландия* (*Holland*), *Гольфстрим* (*Golfstrom*), *голень* (*Unterschenkel*), *голубец* (*Kohlroulade*) etc. mit der russ. Wortwurzel *gol-* mitführt, vom Freudischen Vermächtnis sehr schwer gezeichnet sein muss. Diese Art von Interpretationen hat Nabokov in seinem Artikel »Pounding on the clavichord« zu der Übersetzung von Puschkins *Onegin* bereits 1964 sehr treffend mit einem seiner Lieblingsworte »*otsebyatina*« (*отсебятина* – von sich selbst »Eigenmächtigkeit«) bezeichnet und gnadenlos an den Pranger gestellt.

Da diese Arbeit, anfangs als ein kurzer Artikel gedacht, inzwischen in etwas viel Größeres auszufern droht, müssen wir energischer durchgreifen und langsam zum Ende kommen. Noch als ein Abschiedstrunk mit auf den Weg (*на посошок*) möchten wir ein letztes Beispiel aus der Welt der unglückseligen Phraseologismen, last but not least, anführen. Nachdem die so glorreich angefangene Revolution allem Anschein nach im Sande verläuft, da niemand auf die Forderungen der Revolutionäre eingegangen war und sie einfach von der restlichen Welt ignoriert wurden,

55 V. Erofeev, 2005, S. 245

56 ebda, S. 249

57 ebda, S. 205

beschließt Venja von seinem Posten des Präsidenten zurückzutreten. Im dritten Plenum verkündet der Präsident seinen offiziellen Rücktritt, aber die Delegierten versuchen ihn noch umzustimmen: »Verzweifle nicht, Venja! Mach dir nicht in die Hose! Bomber werden sie uns geben! B-52 werden sie uns geben!«, worauf der von ihrer missglückten Revolution enttäuschte Präsident antwortet: »Und ob! die geben uns B-52! Haltet die Taschen zu! Es ist geradezu lächerlich, euch zuzuhören, Senatoren!« Immer noch derselbe aufmerksamer Leser würde hier schon wieder stolpern und sich abermals fragen, was hat es mit dem Zuhalten von Taschen an sich und, ob er verpasst hatte, als die Senatoren ihre Taschen aufhielten. Wenn irgendeine Phrase im Text völlig aus der Reihe tanzt und eigentlich keinen Sinn ergibt – spätestens dann sollte ein Übersetzer Verdacht schöpfen, dass möglicherweise nicht der Originaltext, sondern er falsch liege. Doch beim Übersetzen der postmodernen, insbesondere russischen postmodernen Literatur, die von der absurdistischen literarischen Tradition sehr stark geprägt ist, kann man von diesen Vorteilen immer profitieren, indem man alles angeblich Ungereimte im Original der scheinbar vom Autor intendierten Absurdität des Werkes anrechnen kann. Keine Frage, der Originaltext weist mehrere groteske und absurde Stellen auf, die aber den stilistischen und literarischen Gesetzen unterliegen, so dass sie die besten literarischen Traditionen bewahren und fortführen. Die Absurdität in der Übersetzung ist leider weit davon entfernt und liest sich als purer Unsinn. Außerdem steht der Ausdruck fast in jedem herkömmlichen Wörterbuch »держи карман шире! – da kannst du lange warten!«, nur wird »шире« sehr oft in der Umgangssprache weggelassen. Somit klingt Venjas Antwort auf die ermunternden Zusicherungen seiner Senatoren, dass sie noch alles kriegen werden als »Darauf könnt ihr lange warten, Herren Senatoren!«⁵⁸

Der Verlag hat auch den Schritt mitgehalten und als Krönung seiner Neuerscheinung eine glänzende Leistung zu Tage gebracht – unter den Verlagsangaben auf der letzten Seite wird der Originaltitel noch origineller wiedergegeben: »Titel der Originalausgabe: МОСКВА – ПЕТУ ЧШКИ« (*Kursiv d.V.*).

Dies war lediglich eine bescheidene Auswahl der zahlreichen Entgleisungen, Verwirrungen und Auslassungen, die die Neuübersetzung bedauerlicherweise vorzuweisen hat. Gerechtigkeitshalber muss ausdrück-

58 W. Jerofejew, 1978, S. 124

lich darauf hingewiesen werden, dass Erofeevs Werk zum Übertragen in eine Fremdsprache eine extrem harte Nuss ist. Im Nachwort zur Neuerscheinung erklärt der Übersetzer, warum man Erofeev im Westen nicht verstanden und sein Werk eher als ein »urkomisches Buch« aufgefasst hat. »Überlesen hatte man wohl dort wie hier die Widmung, in der Erofeev sein Gedicht ausdrücklich „tragische Blätter“ nennt.«⁵⁹ Kurzum mit den Worten des Übersetzers zu sagen, hat die Neuübersetzung wohl überlesen, dass Erofeevs Werk in erster Linie ein Poem ist. Nun wird wahrscheinlich die Erofeevsche Leserschaft in Deutschland bald in zwei Lager gespalten sein. Denn obwohl die alte Übersetzung den meisten Intertext nicht aufgedeckt hatte, nicht zuletzt weil sie schon fast 30 Jahre zurückliegt als noch gar keine Kommentare gab, bewahrt sie zum größten Teil das geistreiche stilistische Jonglieren der Originalsprache des Autors. Für die Verfechter einer präziseren, teilweise philologischen Übersetzung – oder sollte man hier einer postmodernen Übersetzung sagen – gilt zweifellos mit Ausnahme einer ganzen Reihe von Unebenheiten die Neuübersetzung mit ihrem zum richtigen Verständnis des werkimmanenten Intertextes erforderlichen Kommentarteil als die korrektere Version.

Berlin, Januar 2006

59 V. Erofeev, 2005, S. 179

Участники событий 68-го... Сколько им теперь?

Сорокалетие – существенная веха в жизни человека, юность которого уже прошла, даже если в этом иногда и трудно признаться. Вершина горы достигнута, осталось теперь только одно направление...

Сорокалетний юбилей участников событий 68-го выглядит несколько иначе. Этим людям давно уже считали ушедшими из жизни, затем они были следующим поколением подвергнуты резкой критике, и тем самым их вновь вытащили на «свет божий». А сегодня их чествуют как светоносное явление.

К людям 68-го относятся те, кто был тогда молод, т.е. родились они где-то между 1942 и 1952 годами и сейчас уже пенсионного возраста. Численность их, по заявлениям участников событий и нынешнего политика из «зелёных» Штрёбеле (Ströbele), составляла в 1968 г. несколько тысяч человек, в основном студентов, радикально полемизировавших с западным обществом и против него демонстрировавших.

По сегодняшней официальной точке зрения, они являлись в политическом плане радикал-социалистами и анархистами, путаниками, которые, скандируя: «Хо-хо-хо-Ши-Мин», шагали по улицам в футболках с портретом Че Гевара и с цитатниками Мао в руках, повергая в страх и ужас добропорядочных бюргеров сытой, самодовольной Федеративной Республики. Эти молодые люди хотели установления диктатуры пролетариата, но презирали мелкобуржуазный, «реально существующий социализм» в СССР и ГДР. Они стали инициаторами молодёжного движения, порвавшего с буржуазным бытом, пропагандировавшего свободную любовь, антиавторитарное воспитание, эмансипацию женщин, отказ от карьеризма и потребительства.

Политическая революция потерпела сокрушительное поражение, тем более что рабочие, на поддержку которых рассчитывали бунтари, не чувствовали себя обездоленными пролетариями и отвернулись от длинноволосых тунядцев-хиппи. Некоторые из политактивистов застряли на многие годы в различных сектантских

группках. Иные ушли в террористическое подполье (RAF/ФКА) или сблизилась с правыми экстремистами (Хорст Малер). Многие, трезво оценив обстановку, успели, хоть и с опозданием, сделать карьеру: одни вступили в СДП (Отто Шили), другие создали партию «зелёных» и стали кто министром иностранных дел (Йошка Фишер), кто президентом Бундестага (Ангель Вольмер). Менее известные и популярные подались в СМИ или – о, ирония судьбы! – на государственную службу, большинство – в учителя.

Официальная версия – между прочим, с подачи в СМИ самих участников движения – гласит, что наряду с политическим бунтом произошла своего рода культурная революция. Она нашла своё продолжение в 70-х годах и превратила прежнюю припорошенную пылью консерватизма, закосневшую в материализме, реставрированную аденауэровскую республику в то, что она ещё и сегодня собой представляет. Именно в высшей степени либеральное и открытое гражданское общество, образцовую демократию, где большинство составляют демократически настроенные граждане, что не каждой демократии присуще.

Эта версия звучит, на первый взгляд, довольно правдоподобно: в конце концов, нет ничего необычного в том, что из хвастливых мальчишек получаются добропорядочные бюргеры. Это был бы не первый случай в истории, когда идеи, кажущиеся завиральными, в конце концов, оказываются полезными и юношеское неистовство воздействует на излишне самодовольное общество, как освежающая гроза.

Ну и ладно, однако... Противники – в особенности из рядов ХДС – видят всё это несколько иначе. По их мнению, за все сегодняшние действительные или мнимые декадентские проявления ответственны участники 68-го: упадок морали (что всегда было и будет), дурно воспитанные дети, женщины в брюках, граффити на стенах домов... Это всё та же песня, которую постоянно поют критически настроенные консерваторы от культуры, даже и без 68-го года. Можно было бы эти причитания оставить без внимания, если бы подобные голоса не раздавались из рядов самих «шестидесятников», выражающих сомнение, что история этого движения была успешной и гладкой.

Так, недавно Гёц Али опубликовал книгу под многозначительным заглавием «Наша борьба». «Шестидесятник» Али в ней

утверждает, что между прославляющей насилие риторикой его сотоварищей, с одной стороны, и, возможно, только временно ими крепко атакованными отцами-нацистами – с другой, существует отчасти своеобразное духовное родство. Может быть, «отцы» и «дети» были тогда друг к другу ближе, чем сами того хотели.

Факты требуют ответа ещё на один вопрос: хотя немецкие участники событий 68-го были частью интернационального (вплоть до Праги – западного) молодёжного движения или бунта, почему только в постфашистских демократиях Италии, Японии и Германии участники движения порой переходили к насилию и терроризму? Американские хиппи были для этого слишком миролюбивы, а французы, политически самые успешные (по крайней мере, в связи с волнениями в Париже в

1968 г. премьер-министр вынужден был уйти в отставку), были слишком цивилизованными.

Не может быть просто так сброшено со счетов и предположение, что под лозунгом солидарности с палестинцами, как представителями «третьего мира», в конечном итоге таился скрытый антисемитизм. Тогдашний антиамериканизм – не только в среде молодых интеллигентов – сохранился до сих пор, а во времена канцлера Шрёдера он даже был возведён в ранг внешнеполитической цели государства.

К т.н. положительным легендам-ветеранам относится сегодня также мнение, что деятелей 68-го чтят за то, что в Федеративной Республике они положили начало продолжающемуся и теперь преодолению прошлого. Однако сомнение в этом вполне уместно. На многие вопросы до сих пор ещё нет ответа, в том числе и на такой: были ли люди 68-го волной или только сумели оказаться на её вершине, оседлав волну?

Книг на эту тему в юбилейном году уже навалом: романы и повести, в которых картина движения 68-го освещается в литературной перспективе, и едва ли какое-либо средство массовой информации обойдёт данную тему стороной.

Перевёл с немецкого Иосиф Моков.

ГЕТМАНОВА ВИКТОРИЯ

Родилась в Ташкенте, Узбекистан. Окончила Ташкентский Государственный Политехнический Университет, Ташкентский Государственный Экономический Университет. В 2007 вышла в свет её книга «Дальнейшее молчание» (Москва, Издательство «Меморис»).

ИГОРЬ КОРАБЛЁВ

Родился в 1973 г. в Ленинграде. Кинодраматург, художественный руководитель благотворительного кинопроекта «Открытые острова». Автор сценария фильма «Мой остров». Публиковался в журналах «Листья» и «Портфолио».

МЕЛИТТА НЕЙМАН

Родилась в немецкой колонии на Украине, вместе с родителями в годы войны была вывезена в Германию. После возвращения в СССР десять лет жила в Архангельской области, потом в Казахстане. Окончила Институт иностранных языков (факультет германистики). Перевела ряд произведений Пушкина, Маршака, Бродского. С 1980 года проживает в Германии.

МИХАИЛ АГУРСКИЙ (1933–1991)

Один из самых оригинальных шестидесятников, диссидент, отказник, профессор Иерусалимского университета, публицист, историк, политолог, участник солженицынского сборника «Из-под глыб», автор книг «Идеология национал-большевизма», «The Third Rome» и других.

ЮРИЙ ТКАЧЁВ

Родился в 1969 году в городе Черновцы на Украине. Окончил филологический факультет Черновицкого университета. Доктор филологии. Автор книги стихотворений «Многоточие».

С 2001 года проживает в Германии в городе Ганновере. В настоящее время – докторант философского факультета Гёттингенского университета и лектор VHS Гёттингена.

МИХАИЛ ГОРЕЛИК

Родился в Москве в 1948 году. Прозаик, публицист. Его статьи и эссе широко публикуются в российских газетах и журналах. Живёт в Москве.

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА

Закончила Литературный институт им. А.М. Горького в Москве, Публиковалась в журналах «Нева», «Стороны света», «Пролог», «Дети Ра», альманахе «45 параллель». Член СП Москвы. Живёт в Петербурге.

ИВАН ЗОРИН

Родился в 1959 году в Москве. Закончил МИФИ, отделение теоретической ядерной физики, работал в Академии Наук СССР. Автор книг «Игры со сном» (изд-во «Интербук», 1992), «Письмена на орихалковом столбе» (изд-во «Карт-бланш», 1993), «Исповедь на тему времени» (изд-во «Художественная литература», 1998).

ПАВЕЛ АНТИПОВ

Живёт в городе Минске, работает бухгалтером. Принимал участие в литературных конкурсах, например, конкурс им. Короткевича, 2005 год, Минск, или конкурс «Илья-Премия 2006», Москва, где его проза была отмечена премиями. Печатался в журналах «Дзяслоў» и «Студдумка», газете «Вечерний Минск».

ЕВГЕНИЙ БЕРКОВИЧ

Математик, историк, издатель, публицист, создатель и главный редактор журнала «Заметки по еврейской истории» и альманаха «Еврейская Старина».

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА

Родилась в Москве. Училась на истфаке Московского государственного педагогического института, окончила Высшие литературные курсы. Автор 15 поэтических книг и нескольких десятков сборников переводной поэзии, в основном, с таджикского и казахского языков. Её стихи переводились на многие иностранные языки. Главный редактор журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А». Лауреат литературной премии «Венец».

ДЕНИС ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ

Родился в 1977 году. Прозаик, журналист. Его рассказы отмечены в конкурсе «Жар поэзии» в номинации «Проза», организованном Краснодарским отделением Союза писателей России, были номинированы во Всероссийском литературном конкурсе «Золотое перо Руси». Живёт в Брянской области, город Карачев.

ГУРАМ МЕГРЕЛИШВИЛИ

Грузинский писатель, автор книг «10+2» (2003), «Ты» (2005), «Кама-Супра» (2007), «Многоразовые бутылки» (2008). Автор нескольких десятков рассказов, одной пьесы и двух киносценариев. По мотивам его сценария снят полнометражный художественный фильм «Очки Квентина», который вышел в кинопрокат в июне 2008 года.

ЕЛЕНА МАКСИНА

Родилась в Москве. Закончила МАТИ. Работает в области информационных технологий. Публикации в «Новом журнале», «Крещатике», «Побережье», «Вечернем Петербурге», «Новом Русском Слове», «Вестнике», «Чайке» и других изданиях. С 1996 года живёт в Филадельфии, США.

ЛЮДМИЛА БОБРОВСКАЯ

Выпускница Московской консерватории, более 20 лет преподавала в музучилище М. М. Ипполитова-Иванова. В 2007 году вышла вторым изданием её книга «На чужой стороне» в московском издательстве «Дека», посвященная жизни её деда Петра Семёновича Бобровского, одного из значительных представителей русского зарубежья.

МИЛЛА СИНИАРВИ

Печаталась в сборниках рассказов: «Арена» – ОКНО Publishing 2005, «Женским взглядом» – Эльф ИПР 2004, «Встреча» – Литературное слово 2005, «О чем поют сосны» – на финском языке, Helsinki, 2006. Является постоянным автором и членом редакционной коллегии журнала «LiteraruS».

АЛЕКСАНДР КАРАСЁВ

Родился в 1971 году. Прозаик, член Союза российских писателей. Публикации рассказов в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов». Живёт в Краснодаре.

СЕРГЕЙ ВИКМАН

Родился в 1951 году в Москве. Автор сборника стихов «49» и книги рассказов «Табаш». Последняя – в соавторстве с Н. Петровым. В Германии с 1999 года. С 2001 г. сотрудничает с журналами «Партнер» и «Партнер-Норд».

НИКОЛАЙ БУТОРИН

Живет и работает в Санкт-Петербурге. Публиковался в «Открытой Мысли», «Крещатике», «Журнале Поэтов», некоторых малотиражных изданиях.

ВЕРА ЛУРЬЕ (1901–1998)

Поэтесса Вера Лурье родилась в С-Петербурге. Являлась членом литературного кружка молодых поэтов Николая Гумилёва «Звучащая раковина». С 1921 года Вера Лурье жила в Берлине.

АЛЕКСЕЙ ЛАЙКО

Родился в 1973 году в Москве. С 1990 года живёт в Берлине. Окончил Берлинский университет им. Гумбольдта (переводческое отделение). Его статьи и рецензии печатаются в русскоязычной и немецкоязычной прессе Германии.

ХОЛЬГЕР ШВЕНКЕ

Родился в 1958 году в Ильзеде (Нижняя Саксония). Изучал германистику и философию в Берлине. Поэт и переводчик. Печататься начал в 1980 году. С тех пор вышли в свет несколько книг его стихов: «Pik Bube», «Hellblau = 12», «Synchron», «31 Tage», «Ein Vergleich», «Zeitglas» («Бинокль»). Председатель правления Немецко-русского литературного общества «Die Fähre» / «Паром».



ЗАКАЗ журнала «СТУДИЯ» («STUDIO»)

Да, я хочу заказать _____ номера журнала «СТУДИЯ» («STUDIO»).

Стоимость одного номера 4,5 евро, включая доставку по Германии.

*Name, Vorname / фамилия, имя

Telefon / телефон

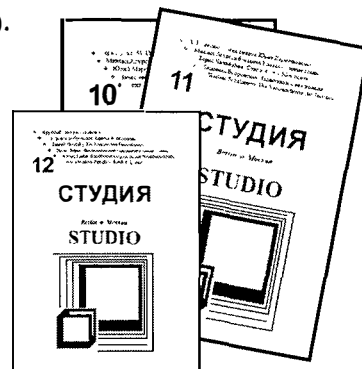
*Strasse, Hausnr. / улица, номер дома

Datum / дата

*PLZ, Ort / почтовый индекс, город

Unterschrift / подпись

*фамилия и адрес указываются на языке и в формате, принятыми в стране проживания



Для заказа журнала переведите деньги на следующий счет:

Bankverbindung: Werbeagentur NORD, KN: 900 255 536, BLZ: 250 501 80, Sparkasse Hannover,

затем внимательно прочтите заказ, заполните его, вырежьте и отправьте вместе с копией платежного документа по адресу: **Redaktion «Partner-Nord», Alte Stöckener Str. 2, 30419 Hannover** или по факсу: **0511 / 979 25 10.**

По вопросам заказа, доставки или переадресовки звоните по тел.: **0511 / 979 33 14.**



«Окно». Рисунок московской художницы Натальи Шибановой.